



НИКОЛ
ЧЕКАН
И
СОПР.
АЛЕКСАН
ПРОДА

Олдос

ХАКСЛИ

Желтый Кром

роман

Желтый
Кром

Annotation

«Желтый Кром» — история молодого поэта Дэниса Стоуна, приезжающего к своим друзьям в загородное поместье. Первый роман Олдоса Хаксли, с иронией и грустью описывающего в нем повседневную жизнь, обычаи и манеры английского света и полусвета начала прошлого века.

- [Желтый Кром](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [Глава двадцатая](#)
 - [Глава двадцать первая](#)
 - [Глава двадцать вторая](#)
 - [Глава двадцать третья](#)
 - [Глава двадцать четвертая](#)
 - [Глава двадцать пятая](#)
 - [Глава двадцать шестая](#)
 - [Глава двадцать седьмая](#)
 - [Глава двадцать восьмая](#)

- [Глава двадцать девятая](#)
 - [Глава тридцатая](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
-

Желтый Кром

Глава первая

По этой ветке никогда не ходили экспрессы. Все поезда, — а их было немного в расписании, — останавливались на каждой станции. Дэнис знал названия станций наизусть. Боул, Триттон, Спейвин Делауорр, Нипсвичфор-Тимпани, Уэст Баулби и, наконец, Кэмлетон-Уотер. Он всегда выходил в Кэмлете, а поезд неспешно полз дальше, один только бог знает куда, в зеленое сердце Англии.

Сейчас они с пыхтеньем удалялись от Уэст Баулби. На следующей станции ему, слава Богу, выходить. Дэнис снял свои вещи с полки и аккуратно сложил их в углу напротив себя. Ненужная работа. Но ведь надо же что-нибудь делать. Закончив, он снова опустил на свое место и закрыл глаза. Было очень жарко.

О, эта поездка! Два часа, полностью вычеркнутые из жизни; два часа, за которые он мог бы сделать так много, так много: написать свои лучшие стихи, например, или прочесть самую главную книгу. А вместо этого... Запах пыльных подголовников, к которым он прислонился, вызвал в нем еще большее отвращение.

Два часа. Сто двадцать минут. Все что угодно можно было сделать за это время. Все что угодно. И ничего. О, у него были сотни часов, и что же? Он потратил их впустую, расплескивая драгоценные минуты, как будто запас их был неисчерпаем. Дэнис мысленно застонал — и осудил себя бесповоротно за все, что он делал до сих пор. Какое право он имел нежиться на солнце, занимать угловые места в вагоне третьего класса, вообще жить? Никакого, никакого, никакого...

Он чувствовал себя глубоко несчастным, неясная тоска охватила его. Ему было двадцать три и — о, как мучительно сознавать это!

Лязгнув буферами, поезд остановился. Наконец-то Кэмлет. Дэнис вскочил на ноги, надвинул на глаза шляпу, развалил свой сложенный в углу багаж, высунулся из окна крикнуть носильщика, схватил по чемодану в каждую руку, потом опять поставил их, чтобы открыть дверь. Выгрузившись наконец благополучно на платформу, он побежал к голове поезда, к багажному вагону.

— Велосипед, велосипед! — тяжело дыша, сказал он кондуктору. Он почувствовал себя человеком действия. Кондуктор, не обращая на него внимания, продолжал методично, один за другим доставать тюки с бирками, на которых было написано «Кэмлет».

— Велосипед! — повторил Дэнис. — Зеленый, мужской, на имя Стоуна. Сто-у-на!

— Всему свое время, — успокаивающим голосом сказал кондуктор. Это был крупный, величественного вида мужчина с бородкой моряка. Его легко было представить себе дома, пьющим чай в кругу многочисленной семьи. Именно таким тоном он, должно быть, говорил со своими детьми, когда они докучали ему. — Всему свое время, сэр!

Человек действия в Дэнисе обмяк, словно из него выпустили воздух.

Он оставил багаж на станции, чтобы прислать за ним позже, и двинулся вперед на своем велосипеде. Дэнис всегда брал его с собой, отправляясь за город. Это было частью его теории физической культуры. В один прекрасный день можно встать в шесть утра и покатить в Кенилворт или в Стратфорд-Эйвон — куда угодно. А во время послеобеденных прогулок в радиусе двадцати миль всегда можно увидеть норманские церкви и тюдоровские усадьбы. Как-то так получалось, что он никогда их не видел, но тем не менее было приятно сознавать, что велосипед под рукой и что в один прекрасный день он возьмет да и встанет в шесть утра.

На самом верху пологого холма, по которому шла дорога от станции, он заметил, что хорошее настроение возвращается. Мир снова был прекрасен. Голубые холмы на горизонте, сжатые хлеба, белевшие на склонах вдоль дороги, безлесные дали, менявшие свои очертания по мере того, как он ехал, — да, все это было прекрасно. Его покорила красота этих глубоких лощин, врезавшихся в склоны холма под ним. Изгибы, изгибы, медленно повторял он, пытаясь найти слово, чтобы выразить свое восхищение. Изгибы... Нет, это было неточно. Он сделал движение рукой, словно выхватывая подходящее выражение из воздуха, и едва не упал с велосипеда. Каким же словом можно описать изгибы этих небольших долин? Они были прекрасны, как линии человеческого тела, полны утонченного изящества...

Galbe. Хорошее слово. Но оно французское. Le galbe evase de ses hanches^[1]. Есть ли хоть один французский роман, в котором не встречалось бы это выражение? Когда-нибудь он, Дэнис, быть может, составит словарь для нужд романистов. Galbe, gonfle, goulu; parfum, peau, pervers, potele, pudeur, vertu, volupte^[2].

Нет, он действительно должен найти это слово. Изгибы, изгибы... Эти маленькие долины подобны чаше, отлитой в форме женской груди. Они словно застывшие отпечатки огромного прекрасного тела, покоившегося некогда на этих холмах... Тяжелые фразы, тяжелые. Но благодаря им он,

кажется, приблизился к тому, чего добивался... Изломы, истома, истоки... Его мысли уходили все дальше и дальше в сторону по гулким коридорам ассонансов и аллитераций. Он был опьянен красотой слов.

Вернувшись в реальный мир, Дэнис увидел, что он уже на гребне холма. Дальше дорога круто уходила вниз, в большую долину. Там, на противоположном склоне, чуть возвышаясь над долиной, стоял Кром, куда он и держал путь. Дэнис нажал на тормоза. Вид на Кром был так хорош, что здесь стоило задержаться. Из темной зелени сада стремительно поднимался дом с тремя башнями. Он купался в солнечных лучах. Светился розовым светом старый кирпич. Как богат и сочен был этот цвет, как благороден! И в то же время как строг! Склон становился все круче и круче, Несмотря на тормоза, велосипед набирал скорость. Дэнис немного отпустил педали и через мгновение уже стремительно мчался вниз. Еще пять минут — и он влетел через калитку и большой двор. Парадная дверь была гостеприимно распахнута. Дэнис прислонил велосипед к стене и вошел в дом. Он решил застать их врасплох.

Глава вторая

Врасплох он никого не застал: в доме никого не было. Стояла тишина. Дэнис бродил по пустым комнатам, с удовольствием глядя на знакомые картины и мебель, на легкий беспорядок там и тут — признаки жизни. Он был даже рад, что все куда-то ушли. Интересно ходить по дому, словно исследуя мертвые, опустошенные Помпеи. Картину какой жизни воссоздал бы археолог, проведя раскопки в развалинах этого дома? Какими людьми населил бы он эти пустые комнаты? Вот большая галерея с рядами пристойных и (конечно, открыто об этом не скажешь) довольно скучных итальянских примитивистов, с китайскими скульптурами, с безликой мебелью неизвестно какого времени. Отделанная панелями гостиная с обитыми воцеленным ситцем большими креслами — оазисами комфорта среди суровой, умерщвляющей плоть обстановки. Малая гостиная с бледно-лимонными стенами, крашеными венецианскими стульями, столами в стиле рококо, зеркалами, современными картинами. Библиотека — прохладная, просторная и темная, с рядами книг от пола до потолка, среди которых немало редкостных фолиантов. Столовая — по-английски основательная, наводящая на мысль о рюмке послеобеденного портвейна, с большим столом красного дерева, стульями и буфетом восемнадцатого века, того же времени картинами — семейными портретами, изображениями тщательно выписанных животных. Что можно было бы воссоздать из всего этого? В большой галерее и библиотеке было много от Генри Уимбуша, в малой гостиной, пожалуй, кое-что от Анны. Вот и все. Среди всего, что накопилось в течение жизни десяти поколений, нынешнее оставило едва заметные следы.

В малой гостиной Дэнис увидел на столе книгу своих стихов. Какая внимательность! Он взял ее в руки и открыл. Рецензенты называют такие издания «небольшими томиками». Дэнис прочитал наугад:

Сияет Луна-парк, а тьма
Над ним сомкнулась, как тюрьма.
И Блэкпул смотрит в мрак ночной
Могилой яркой и цветной.

Дэнис положил книгу, покачал головой и вздохнул. Как я был тогда гениален! — подумал он словами престарелого Свифта. С тех пор как книгу опубликовали, прошло уже почти полгода. Приятно сознавать, что такого он уже больше никогда не напишет. Но кто ее здесь читает? Анна? Хотелось верить в это. Быть может, она наконец узнала себя в дриаде молодого тополя — в стройной лесной нимфе, чьи движения — словно трепет молодого деревца под ветром. «Женщина, которая была деревом» — так называлось стихотворение. Он подарил Анне книжку, как только она вышла, надеясь, что стихи скажут ей то, чего он сам сказать не смел. Но она никогда не упоминала о них.

Он закрыл глаза и увидел ее в красном бархатном плаще, входящую в маленький ресторан, где они иногда обедали вместе в Лондоне, с опозданием на три четверти часа, и себя за столом, измученного тревогой, раздражением, голодом. Она была невыносима!

Ему пришло в голову, что хозяйка дома могла быть в своем будуаре. Это было вполне вероятно. Надо пойти посмотреть. Будуар миссис Уимбуш находился в центральной башне и выходил окнами в сад. К нему из зала вела маленькая винтовая лестница. Дэнис поднялся по ней, постучал в дверь. «Войдите!» — услышал он. Значит, она все-таки там, вопреки его тайной надежде, что ее там не будет. Он открыл дверь.

Присцилла Уимбуш лежала на софе. На коленях у нее был бювар, она задумчиво покусывала кончик серебряного карандаша.

— Добро пожаловать! — сказала она, подняв глаза. — Я и забыла, что вы должны приехать.

— Гм, боюсь, что я уже приехал, — обиженно ответил Дэнис. — Приношу глубокие извинения.

Миссис Уимбуш засмеялась. У нее был низкий мужской голос и низкий мужской смех. Все в ней напоминало мужчину. Крупное квадратное лицо человека среднего возраста с массивным носом и маленькими зеленоватыми глазами. Все это увенчивалось высокой замысловатой прической неестественного оранжевого цвета. Глядя на Присциллу, Дэнис всегда вспоминал Уилки Барда, изображавшего на эстраде оперную певицу.

Так вот почему
Мое призванье
Оп-оп-оп-оп-опера.

Сегодня на ней было фиолетовое шелковое платье с высоким воротником и нитка жемчуга. Этот туалет, пышный, как у вдовствующей герцогини, наводивший на мысль о королевской семье, делал ее еще более, чем обычно, похожей на актрису мюзик-холла.

— Как вы поживали все это время? — спросила она.

— В общем, — начал Дэнис и сделал небольшую почти сладострастную паузу. У него был готов удивительно забавный отчет о лондонской жизни, и он уже предвкушал удовольствие от своего рассказа. — Начать с того, — продолжил он...

Но было уже поздно. Вопрос миссис Уимбуш принадлежал к тем, что лингвисты называют риторическими: он не требовал ответа. Это была всего лишь небольшая завитушка в беседе, первый ход в игре вежливых условностей.

— А я как раз занимаюсь своими гороскопами, — сказала она, даже не заметив, что перебила его.

Слегка уязвленный, Дэнис решил приберечь свою историю для более чуткого слушателя. Он удовлетворился тем, что ответил ледяным тоном.

— Вот как?

— Я рассказывала вам, как выиграла в этом году на Больших скачках в Ливерпуле четыреста фунтов?

— Да, — ответил он по-прежнему холодно и односложно. Она рассказывала ему об этом по меньшей мере шесть раз.

— Чудесно, не правда ли? Все определяют звезды. В старые времена, до того как я обратилась к помощи звезд, я, бывало, проигрывала тысячи. Теперь же... — Она на мгновение замолчала. — Да вот хотя бы эти четыреста фунтов на Больших скачках в Ливерпуле. Это все благодаря звездам.

Дэнис с большим удовольствием послушал бы что-нибудь еще о старых временах. Но он был слишком разумен, более того, слишком застенчив, чтобы спрашивать об этом. Был какой-то скандал, это все, что он знал. Старушка Присцилла — не такая старушка, конечно, в те дни — промотала огромные деньги, швыряя их пригоршнями на скачках по всей Англии. Увлекалась она и азартными играми. Сколько тысяч она проиграла — об этом в разных легендах говорилось по-разному, но сумма всегда называлась очень крупная. Генри Уимбуш был вынужден продать в Америку кое-кого из своих итальянцев — Таддео из Поджибонси, друга Таддео, а также четыре или пять картин неизвестного художника Сиенской школы. Это был переломный момент. Впервые в жизни Генри заявил о своих правах, и, как видно, не без успеха.

Веселая кочевая жизнь Присциллы резко оборвалась. Теперь она проводила большую часть времени в Крое, лелея какую-то не слишком понятную болезнь. Ища утешения, она увлеклась школой «нового мышления» и оккультизмом. Она по-прежнему была одержима скачками, и Генри, который в душе был добрый малый, позволял ей тратить сорок фунтов в месяц на тотализатор. Большую часть своих дней Присцилла проводила теперь, составляя гороскопы лошадей, и вкладывала отныне деньги на научной основе, в соответствии с указаниями звезд. Кроме того, она не обходила вниманием и футбольный тотализатор. У нее была большая записная книжка, в которую она занесла гороскопы всех игроков футбольной лиги Великобритании. Сопоставить гороскопы двух команд по одиннадцать человек в каждой — дело тонкое и трудное. Матч между «Спёрс» и «Виллой», например, создавал на небесах коллизию гигантского масштаба, и неудивительно, что иногда она ошибалась в предсказании результата.

— Как жаль, что вы не верите в это, Дэнис, как жаль, — произнесла миссис Уимбуш своим низким голосом.

— Не могу сказать, что я жалею об этом.

— О, вы просто не знаете, что такое обрести веру. Вы не представляете себе, какой увлекательной и интересной становится жизнь, когда веришь. Все, что бы вы ни делали, приобретает смысл. Нет такого пустяка, который не имел бы значения. Это делает жизнь такой интересной, поверьте. Вот я живу здесь, в Крое. Можно подумать, это скучная дыра. Отнюдь нет, только не для меня. Я ничуть не жалею о старых временах. У меня есть звезды... — Она взяла листок бумаги, лежавший на бюваре. — Это гороскоп Инмэна, — пояснила она. — Я решила нынешней осенью немножко поиграть на чемпионате по бильярду. Надо поступать так, чтобы быть в гармонии с бесконечностью. — Она повела рукой. — А потом есть еще и мир иной, и духи, и своя аура у каждого человека, и учение миссис Эдди о том, что вера исцеляет от всех болезней, и миссис Безант с ее христианскими таинствами... Все это чудесно. Для скуки не остается ни минуты. Не могу себе представить, как я жила раньше, в старые времена. Удовольствия? Просто суета, вот что это было. Просто суета. Обед, чай, ужин, театр, опять ужин — каждый день. Это забавляло, конечно, само по себе. А потом не осталось почти ничего. Об этом хорошо сказано в новой книге Барбекью-Смита. Где же она?

Миссис Уимбуш приподнялась и дотянулась до книги, лежавшей на столике у изголовья софы.

— Кстати, вы знаете его? — спросила она.

— Кого?

— Мистера Барбекью-Смита.

Дэнис имел о нем очень смутное представление. Имя Барбекью-Смита встречалось в воскресных газетах. Он писал об этике поведения, кажется, был также автором книги «Что следует знать молодой девушке».

— Нет, лично с ним не знаком, — сказал Дэнис.

— Я пригласила его на субботу и воскресенье. — Она перелистала несколько страниц книги. — Вот место, которое мне понравилось. Оно у меня отмечено. Я всегда отмечаю то, что мне нравится.

Держа книгу почти на вытянутой руке, ибо страдала некоторой дальнзоркостью, и делая соответствующие жесты другой рукой, миссис Уимбуш начала читать — медленно и выразительно.

— «Что суть меховые мантии стоимостью в тысячи фунтов, доходы в четверть миллиона?» — Она взглянула поверх книги и театрально повернула голову, при этом ее оранжевая прическа величественно качнулась. Дэнис с любопытством посмотрел на нее. Что это — ее собственные волосы, крашенные хной, или же один из тех париков, о которых пишут в рекламе?

— «Что такое троны и скипетры?»

Оранжевый парик — да, это был парик — снова качнулся.

— «Что такое веселье злата, пышность власти, гордость великих мира сего, что такое мишурный блеск высшего общества?»

Голос ее поднимался в вопросительной интонации от предложения к предложению, затем внезапно упал, и гулко прозвучал ответ:

— «Ничто. Суэта, прах, пух одуванчика на ветру, лихорадочный бред. То, что имеет значение, происходит в душе. Видимое — приятно, но Невидимое в тысячу раз более значимо. Именно Невидимое — главное в жизни».

Миссис Уимбуш опустила книгу.

— Прекрасно, не правда ли? — сказала она.

Дэнис не рискнул высказать свое мнение, а произнес лишь ни к чему не обязывающее «гм!».

— О, это отличная книга, прекрасная книга, — сказала Присцилла, перелистывая страницы. — А вот место, где он говорит про лотосовый пруд. Он сравнивает душу с лотосовым прудом, понимаете?

Она снова подняла книгу и прочитала:

— «У моего друга есть в саду лотосовый пруд. Он расположен в небольшой долине и окружен кустами диких роз и шиповника, где соловей все лето поет свою нескончаемую любовную песнь. В пруду цветут лотосы,

и птицы прилетают сюда напиться и искупаться в прозрачной воде...» Кстати, это кое о чем напоминает мне, — воскликнула Присцилла, резко захлопывая книгу и смеясь своим громким утробным смехом. — Это напоминает мне о том, что произошло в нашем бассейне с тех пор, как вы были у нас в последний раз. Мы разрешили деревенским приходить сюда купаться по вечерам. Вы не представляете себе, что из этого вышло!

Она наклонилась, заговорив доверительным шепотом и смеясь то и дело глубоким булькающим смехом.

— ...мужчины и женщины... купались вместе... сама видела из окна... послала за биноклем, чтобы убедиться... Никаких сомнений!

Она снова разразилась смехом. Дэнис тоже засмеялся. Барбекью-Смит был брошен на пол.

— Пора пойти посмотреть, готов ли чай, — сказала Присцилла. Она поднялась с софы и зашагала к двери, шелестя шлейфом шелкового платья. Дэнис последовал за ней, тихонько напевая про себя:

Вот почему
Мое призванье
Оп-оп-оп-оп-пер-ра-а!

И маленький хвостик аккомпанемента в конце: ра-ра!

Глава третья

Терраса перед домом представляла собой узкий длинный газон с изящной каменной балюстрадой и двумя кирпичными беседками по краям. Склон, на котором был построен дом, круто спускался вниз, так что терраса располагалась необычно высоко, футах в тридцати над лужайкой сада на склоне. Если смотреть снизу, высокая сплошная стена террасы, кирпичная, как и дом, имела почти устрашающий вид крепостного сооружения — своего рода бастиона, с парапета которого открывались далекие пространства. Ниже, окаймленный густой стеной подстриженных тисов, был плавательный бассейн с каменными стенками, а за ним простирался парк с толстыми вязами, зелеными лужайками и мерцающей на дне долины узкой полосой реки. По другую ее сторону поднимался отлогий склон, расчерченный уходящими вверх квадратами возделанной земли. Справа, в неизмеримой дали, голубели холмы.

Чайный стол был накрыт в тени одной из беседок. Дэнис и Присцилла застали всю компанию в сборе. Генри Уимбуш начал разливать чай. Это был один из тех не стареющих и не меняющихся мужчин лет шестидесяти, которому по виду можно дать и тридцать, и сколько угодно. Дэнис знал его почти столько, сколько помнил себя. За все эти годы его бледное, довольно привлекательное лицо почти не постарело: оно было, как его светло-серый котелок, который он носил и зимой, и летом, — неопределенного возраста, спокойное, безмятежное и ничего не выражающее.

Рядом с ним, но отделенная от него и от всего остального мира почти непроницаемой стеной глухоты, сидела Дженни Маллион. Ей было лет тридцать. Вздернутый нос, румяные щеки, каштановые косы, закрученные над ушами в кольца. В невидимой башне своей глухоты, одинокая, она смотрела на мир сверху вниз пронзительным взглядом. Что думала она об этих мужчинах и женщинах и обо всем вообще? Этого Дэнис никак не мог понять. В ее загадочную отчужденность что-то проникало. Даже сейчас некоторые понятные только в этом кругу шутки, казалось, забавляли ее, ибо она улыбалась про себя, и ее карие глаза поблескивали, как два круглых камешка.

По другую сторону от Генри Уимбуша светилося серьезное, ясное, как луна, розовое детское лицо Мэри Брейсгёрдл. Ей было уже почти двадцать три, но никто бы не предположил этого. Короткие волосы, стриженные «под пажа», обрамляли щеки золотым колоколом. Голубые, фарфоровые

глаза смотрели с наивным и часто недоуменным интересом.

Рядом с Мэри сидел маленький худой человек, прямой и напряженный. По внешнему виду мистер Скоуган напоминал птерозавра третичного периода. У него был похожий на птичий клюв нос, темные глаза блестели, как у малиновки. Однако ничего мягкого, или изящного, или легкого, как птичье перо, в нем не было. Кожа морщинистого смуглого лица суха и похожа на чешую, руки — как крокодилий лапы; движения ошеломляюще быстры, как у вспугнутой ящерицы; голос тонок, как флейта, визглив и сух. Школьный товарищ Генри Уимбуша, одного с ним возраста, мистер Скоуган выглядел значительно старше и в то же время по-юношески живее, чем благородный аристократ с лицом, похожим на серый котелок.

В противоположность мистеру Скоугану, напоминавшему вымершую рептилию, Гомбо был прежде всего человек. В старинных книгах по естественной истории, которые издавались в тридцатых годах девятнадцатого века, он мог быть изображен на гравюре, олицетворяя собою тип хомо сапиенса, — честь, которой в те времена, как правило, удостоивался лорд Байрон. В сущности, будь волосы у него длиннее, а воротник — короче, он бы действительно казался человеком байронического типа, даже более чем байронического, ибо он был провансалец по происхождению, черноволосый молодой корсар тридцати лет, со сверкающими зубами и горящими большими черными глазами. Дэнис смотрел на Гомбо с завистью. Он завидовал его таланту: если бы он писал стихи так, как Гомбо картины! Более того, сейчас он завидовал его внешности, его энергии, естественной манере держаться. Удивительно ли, что он мог нравиться Анне? Нравиться? Возможно, даже хуже, грустно подумал Дэнис, шагая рядом с Присциллой по длинной террасе.

Подойдя ближе, они увидели между Гомбо и мистером Скоуганом низко опущенный шезлонг. Гомбо с оживленным лицом склонился над ним; он смеялся, быстро жестикулировал. Из глубины шезлонга доносился мягкий беззаботный смех. Услышав его, Дэнис вздрогнул. Этот смех — как хорошо он знал его! Какие чувства он пробуждал! Он ускорил шаг.

Анна полулежала в низком шезлонге. Ее длинное стройное тело расслабилось в позе ленивого изящества. Лицо в рамке светло-каштановых волос выглядело почти кукольным. Порой она и казалась не более чем куклой, когда ее овальное с бледно-голубыми глазами и длинными ресницами лицо ничего не выражало, превращаясь в бесстрастную восковую маску. Анна была племянницей Генри Уимбуша. Взгляд человека в котелке передавался в роду Уимбушей из поколения в поколение, наделяя женщин пустыми кукольными лицами. Однако сквозь эту кукольную маску,

как веселая танцевальная мелодия на фоне ритмических басовых ходов, проступала и другая наследственность: внезапный смех, легкая ирония и живая игра лица — отзвук быстро меняющихся настроений. Сейчас, когда Дэнис смотрел на нее сверху вниз, она улыбалась своей кошачьей, как он называл ее, без особых, впрочем, оснований, улыбкой: губы сжаты, на щеках две маленькие складки. Загадочность чуточку злобного удовольствия пряталась в этих складках, в морщинках вокруг полузакрытых глаз, в самих прищуренных глазах, блестящих и смеющихся.

После нескольких приветственных фраз Дэнис нашел свободный стул между Гомбо и Дженни и сел.

— Как вы поживаете? — громко спросил он у нее.

Дженни кивнула и улыбнулась, сохраняя таинственное молчание, словно состояние ее здоровья было секретом и не подлежало разглашению.

— Какие новости в Лондоне с тех пор, как я уехала? — спросила Анна из глубины своего шезлонга.

Минута наступила: удивительно забавный отчет будет сейчас представлен.

— Ну, — сказал Дэнис со счастливой улыбкой, — начать с того, что...

— Присцилла говорила вам о нашей замечательной археологической находке? — спросил Генри Уимбуш, подавшись вперед. Рассказ, на который возлагались самые большие надежды, был погублен в зародыше.

— Начать с того, — в отчаянии повторил Дэнис, — что балет...

— На прошлой неделе, — мягко и неумолимо продолжал мистер Уимбуш, — мы раскопали пятьдесят ярдов деревянных дренажных труб. Просто дубовые колоды с выдолбленной сердцевинкой. Необычайно интересно. Были ли они уложены монахами в пятнадцатом веке или...

Дэнис слушал в мрачном молчании.

— Поразительно, — сказал он, когда мистер Уимбуш закончил. — Просто поразительно.

Дэнис взял еще один ломтик кекса. Теперь ему даже не хотелось рассказывать про Лондон. Настроение было испорчено.

Между тем серьезные голубые глаза Мэри вот уже некоторое время смотрели на него.

— Что вы в последнее время пишете? — спросила она.

Что ж, неплохо будет побеседовать немного на литературные темы.

— О, стихи, прозу, — сказал Дэнис. — Ничего особенного.

— Прозу? — восторженно, услышав это слово, мистер Скоуган. — Вы пишете прозу?

— Да.

— Не роман ли?

— Да.

— Бедняга Дэнис! — воскликнул мистер Скоуган. — О чем же? Дэнис почувствовал себя неудобно.

— О, просто о жизни.

— Ну да, ну да, о жизни, — проворчал мистер Скоуган. — Я сейчас расскажу вам сюжет. Маленькому Перси — это главный герой — никогда не везло в спорте, но он с детства поразительно умный... Он заканчивает, как водится, частную школу и университет и переезжает в Лондон, где живет в среде художников. Его подавляет меланхолия, на своих плечах он несет всю тяжесть Вселенной. Он пишет блестящий роман. Потом возникает тонкая любовная интрига, и, наконец, мы расстаемся с героем, уходящим в сияющее будущее.

Дэнис густо покраснел. Мистер Скоуган изложил план его романа с пугающей точностью. Он деланно рассмеялся.

— Вы глубоко ошибаетесь, — сказал он. — Мой роман несколько на это не похож.

Это была героическая ложь. Хорошо еще, подумал он, что написано только две главы. Он порвет их сегодня же вечером, как только распакует вещи.

Мистер Скоуган, не обращая внимания на его слова, продолжал:

— Почему это вы, молодежь, продолжаете писать о таких совершенно неинтересных вещах, как внутренняя жизнь молодых людей и художников? Профессиональным ученым, быть может, и интересно порой переключиться с религиозных представлений черных аборигенов Австралии на философские представления студента последнего курса. Но вряд ли можно ожидать, что нормального взрослого человека, вроде меня, очень взволнует рассказ о его духовных исканиях. И в конце концов, даже в Англии, даже в Германии и России больше взрослых, чем юношей. Что же касается художника, то его занимают проблемы, столь отличные от проблем обычного взрослого человека — проблемы чистой эстетики, которые не слишком-то понятны таким, например, как я, — что описание его духовной жизни наводит на обычного читателя такую же скуку, как теоретическая математика. Серьезную книгу о художниках как таковых просто невозможно читать. А книгу о художниках как о любовниках, мужьях, алкоголиках, героях и тому подобное просто не стоит больше писать. Жан-Кристоф исчерпывает образ художника в литературе, как профессор Радий — образ ученого в журнале «Веселая смесь».

— Мне жаль слышать, что я настолько неинтересен, — сказал Гомбо.

— Вовсе нет, дорогой Гомбо, — поспешил объяснить мистер Скоуган. — Я не сомневаюсь, что как любовник или алкоголик вы в высшей степени занимательное существо. Однако вы должны честно признать, что в совокупности качеств вы скучны.

— Совершенно с вами не согласна! — воскликнула Мэри. Она всегда говорила несколько задыхаясь, и ее речь поэтому была прерывистой. — Я знаю многих художников, и их внутренний мир всегда был очень интересен для меня. Особенно это касается художников в Париже. Чуплитский, например, — этой весной мне часто доводилось видеть его в Париже...

— Ах, но вы же исключение, Мэри, вы исключение, — сказал мистер Скоуган. — Вы *femme superieure*^[3].

Лицо Мэри, залитое краской удовольствия, стало похоже на полную луну.

Глава четвертая

На следующее утро Дэнис проснулся и увидел, что солнце светит ярко и небо безмятежно. Он решил надеть белые фланелевые брюки — белые фланелевые брюки и черный пиджак, а также шелковую рубашу и свой новый галстук персикового цвета. А какие туфли? Больше всего, конечно, подходили к случаю белые, но доставляла некоторое удовольствие и мысль о черной лакированной коже. Несколько минут он лежал в постели, обдумывая проблему.

Прежде чем сойти вниз, — а он в конце концов остановился на черных лакированных туфлях, — Дэнис критически оглядел себя в зеркале. Волосы у него могли бы быть более золотистыми, подумал он. Сейчас в их желтизне чудился какой-то зеленоватый оттенок. Но лоб хороший. Высокий лоб делал не столь заметным несколько срезанный подбородок. Нос мог бы быть подлиннее, но, в общем, ничего. Глаза бы лучше голубые, а не зеленые. Зато пиджак сшит хорошо, и благодаря его толстой, искусно скроенной подкладке фигура выглядит более стройной, чем на самом деле. Ноги в белых брюках, длинные и красивые. Удовлетворенный, он спустился по лестнице. Почти вся компания уже позавтракала. Дэнис оказался один с Дженни.

— Надеюсь, вы хорошо спали, — сказал он.

— Да, чудесно, не правда ли? — ответила Дженни, дважды быстро кивнув. — На прошлой неделе здесь были такие ужасные грозы.

Параллельные прямые, подумал Дэнис, пересекаются только в бесконечности. Он мог бы говорить о сне, успокаивающем все заботы, а она о метеорологии до конца света. Удавалось ли человеку когда-нибудь установить контакт с другим человеком? Мы все — параллельные прямые. Дженни просто чуть более параллельна, чем большинство других.

— Гроза всегда пугает, — сказал он, приступая к овсяной каше. — Или вы выше страха?

— Нет. Я всегда ложусь в постель во время грозы. Когда лежишь, это гораздо безопаснее.

— Почему?

— Потому что молния ударяет сверху вниз, а не горизонтально, — сказала Дженни, делая рукой жест, который изображал, как бьет молния. — Когда вы лежите, разряд проскакивает мимо.

— Остроумно.

— Это факт.

Наступила тишина. Дэнис доел овсяную кашу и перешел к бекону. Он не знал, что сказать дальше, и поскольку нелепая фраза мистера Скоугана почему-то не выходила у него из головы, он повернулся к Дженни и спросил:

— Считаете ли вы себя *femme superieure*?

Ему пришлось несколько раз повторить вопрос, прежде чем смысл его дошел до Дженни.

— Нет, — сказала она с некоторым негодованием, услышав наконец, что говорил Дэнис. — Конечно, нет. Кто-нибудь это утверждает?

— Нет, — ответил Дэнис. — Мистер Скоуган сказал Мэри, что она *femme superieure*.

— Вот как? — Дженни понизила голос. — Сказать вам, что я думаю об этом человеке? Я думаю, что в нем есть что-то зловещее.

Сделав это заявление, она укрылась в башне своей глухоты, в башне из слоновой кости, и заперла дверь. Дэнису не удавалось больше вызвать ее на разговор, не удавалось даже добиться, чтобы она хотя бы слушала его. Она только улыбалась, глядя на него, улыбалась и изредка кивала головой.

Дэнис вышел на террасу, чтобы выкурить трубку после завтрака и прочитать утреннюю газету. Час спустя, когда пришла Анна, он все еще читал. К этому времени он дошел уже до хроники окружного суда и свадебных объявлений. Дэнис встал, чтобы поздороваться, увидев, как она идет к нему по траве, — дриада в белом муслине.

— Боже, Дэнис, — воскликнула она. — Вы совершенно прелестны в этих белых брюках!

Дэнис был поражен в самое сердце. Остроумного ответа у него не нашлось.

— Вы разговариваете со мной, как с ребенком, у которого новый костюм, — сказал он с обидой.

— Но, Дэнис, дорогой, именно так я вас и воспринимаю.

— И напрасно.

— Тут уже я ничего не могу поделать. Ведь я значительно старше вас.

— Мне это нравится! На четыре года старше.

— И кроме того, если вы действительно прелестно выглядите в белых брюках, почему бы мне не сказать об этом? И зачем вам было их надевать, если вы не думали, что будете прелестно в них выглядеть?

— Пойдемте в сад, — сказал Дэнис. Он был расстроен. Беседа приняла такой нелепый и неожиданный оборот. Он планировал провести ее совсем по-другому и должен был начать фразой: «Вы сегодня

восхитительно выглядите» — или вариацией на ту же тему. А она бы ответила: «Вот как?», и вслед за этим настало бы многозначительное молчание. А теперь она начала разговор первая — и про брюки. Досадно. Гордость его была уязвлена.

Та часть сада, которая спускалась от подножия террасы к бассейну, была замечательна не столько своими красками, сколько очертаниями. Она была одинаково красива и в лунном свете, и в солнечном. Серебряная гладь воды, темные тени тисов и падубов доминировали в этом пейзаже в любое время суток и в любое время года. Это был черно-белый ландшафт. Краски следовало искать в цветнике. Он был разбит по одну сторону бассейна, отделенный от него вавилонской стеной огромных тисов. Пройдя по туннелю живой изгороди и открыв калитку в стене, вы внезапно и к своему изумлению оказывались в мире красок. В солнечных лучах пестрели и пылали июльские цветы на рабатках. Окруженный высокими кирпичными стенами, цветник был как большой резервуар тепла, запахов и красок.

Дэнис распахнул перед своей спутницей железную калитку.

— Словно из монастыря попадаешь в восточный дворец, — сказал он, глубоко вдыхая теплый, насыщенный ароматом цветов воздух. «Благоуханный фейерверк!..» Как там дальше?

Отменный залп! Ложатся кругом
Огни цветные друг за другом,
Неслышной канонадой манят
И запахом садов дурманят^[4].

— У вас плохая привычка часто цитировать, — сказала Анна. — Поскольку я никогда не могу определить ни содержания, ни автора, меня это задевает.

Дэнис извинился.

— Это издержки образования. Когда говоришь о чем-то и используешь к случаю чью-то готовую фразу, то кажется, что получается живее и убедительнее. А потом есть еще множество красивых имен и слов — монофисит, Ямвлих, Помпонацци... Называешь их, ликуя в душе, и чувствуешь, что побеждаешь в споре уже благодаря одному их магическому звучанию. Вот к чему приводит образование.

— Вы, может быть, жалеете о своем образовании, — сказала Анна. —

Мне же стыдно, что у меня его нет... Посмотрите-ка на эти подсолнухи! Ну не прелесть ли?

— Черные лица и золотые короны — как эфиопские цари. И мне нравится, как синицы опускаются на них и изящно выклевыывают семечки, в то время как другие птицы, не столь ловкие, с завистью смотрят на них, копошась в пыли в поисках пищи. С завистью смотрят на них? Боюсь, это литературщина. Снова образование. Всегда оно, в конце концов, сказывается!

Он замолчал. Анна села на скамейку в тени старой яблони.

— Я слушаю, слушаю, — сказала она.

Он не стал садиться, а ходил взад и вперед перед скамейкой и говорил, слегка жестикулируя.

— Книги, — сказал он, — книги... Читаешь так много, а знаешь о людях и жизни так мало. Замечательные толстые книги о Вселенной, о разуме, об этике... Вы не представляете, как их много. За последние пять лет я, должно быть, прочитал их тонн двадцать или тридцать. Двадцать тонн рассуждений! И вот с таким грузом тебя выталкивают в жизнь!

Он продолжал ходить взад и вперед. Голос его звучал то громче, то тише, иногда Дэнис замолкал, потом возобновлял свои рассуждения. Он жестикулировал кистью, иногда взмахивал всей рукой. Анна смотрела на него и молча слушала, словно на лекции. Он милый мальчик, а сегодня выглядит очаровательно, просто очаровательно.

— В жизньходишь с готовыми представлениями обо всем, — развивал свою мысль Дэнис. — Имеешь какую-то философию и пытаешься подогнать под нее жизнь. Надо бы наоборот: сначала пожить, а потом подогнать свою философию под жизнь. Жизнь, события, явления ужасно сложны; идеи, даже самые сложные, обманчиво просты. В мире идей все ясно, в жизни — непонятно и запутанно. Удивительно ли, что чувствуешь себя одиноким и ужасно несчастным?

Дэнис остановился перед скамейкой, и, задавая этот последний вопрос, раскинул руки, и мгновение стоял так, словно распятый, потом опустил их.

— Бедный Дэнис! — Анна была тронута. Такой милый в этих белых фланелевых брюках, он в самом деле вызывал сочувствие. — Но надо ли страдать из-за подобных вещей? По-моему, это уж слишком!

— Вы как Скоуган, — с горечью воскликнул Дэнис. — По-вашему, я всего лишь объект для антрополога! Что ж, наверное, так оно и есть.

— Нет, нет, — запротестовала она и подобрала юбку, приглашая его сесть рядом. Он сел. — Почему вы не можете просто воспринимать все как

оно есть? — спросила она. — Это намного проще.

— Конечно, проще, — сказал Дэнис. — Но этому надо учиться постепенно. Сначала надо избавиться от двадцати тонн логических рассуждений.

— Я всегда воспринимаю все как оно есть, — сказала Анна. — Это столь естественно. Радуюсь хорошему, сторонюсь неприятного. Вот и все!

— Да, — для вас. Но ведь вы родились язычницей. Я всеми силами тоже пытаюсь стать язычником. Я ничего не могу воспринимать как оно есть, ничему не могу просто радоваться. Красота, удовольствия, искусство, женщины — мне надо изобрести предлог, оправдание для всего, что прекрасно. Иначе я не могу спокойно наслаждаться им. Я сочиняю небольшой рассказ о том, что в красоте и заключены истина и добро. Должен сказать, что искусство — это процесс, с помощью которого из хаоса воссоздается божественная реальность. Наслаждение — один из таинственных путей к гармонии с бесконечным — восторги вина, танцев, любви... Что касается женщин, то я постоянно убеждаю себя в том, что они — наполовину небесные создания. И подумать только, я лишь теперь начинаю понимать глупость всего этого. Мне трудно поверить, что кто-то избежал этих ужасов.

— А мне еще труднее поверить в то, — сказала Анна. — что кто-то становится их жертвой. Хороша бы я была, поверив, будто мужчины — это наполовину небесные создания!

От иронической и злой улыбки в углах ее рта возникли две маленькие складки, а глаза из-под полуприкрытых век искрились смехом.

— Кто вам нужен, Дэнис, так это симпатичная пухленькая молодая жена, твердый доход и немного приятной и постоянной работы.

«Кто мне нужен, так это вы». Именно это он должен был ответить ей, именно это он страстно хотел сказать. Он не мог сказать этого. Его желание боролось с застенчивостью. «Кто мне нужен, так это вы». Мысленно он кричал эти слова, но ни звука не слетело с его губ. Он смотрел на нее в отчаянии. Неужели она не видит, что происходит в нем? Неужели она не понимает? «Кто мне нужен, так это вы...» Он скажет это, он скажет, скажет!

— Я, пожалуй, пойду искупаюсь, — сказала Анна. — Так жарко. Возможность была упущена.

Глава пятая

Мистер Уимбуш пригласил гостей осмотреть ферму, и теперь они стояли все шестеро — Генри Уимбуш, мистер Скоуган, Дэнис, Гомбо, Анна и Мэри — у невысокой стены свинарника, заглядывая внутрь одной из клетушек.

— Хорошая свиноматка, — сказал Генри Уимбуш. — Она принесла четырнадцать поросят.

— Четырнадцать? — с недоверием переспросила Мэри. Она посмотрела своими изумленными голубыми глазами на мистера Уимбуша, потом уронила взгляд на живую массу, в которой бурлила *elan vital*^[5].

Громадная свинья лежала на боку посреди клетушки. Ее круглое черное брюхо с двумя рядами сосков было открыто для нападения целой армии маленьких коричнево-черных поросят. С неистовой жадностью они рвали соски своей матери. Старая свинья время от времени беспокойно шевелилась или тихо хрюкала от боли. Одному поросенку — самому маленькому и слабому — не досталось места на этом пиру. Пронзительно визжа, он бегал взад и вперед, пытаясь протиснуться между своими более сильными братьями или даже вскарабкаться на них и по их крепким черным спинкам добраться до материнского молока.

— Их действительно четырнадцать, — сказала Мэри. — Вы совершенно правы. Я сосчитала. Это невероятно!

— Свиноматка в соседней клетушке, — продолжал мистер Уимбуш, — показала себя очень плохо. У нее только пять поросят. Я дам ей еще одну возможность. Если в следующий раз она не покажет себя лучше, я ее откормлю и забью... А вот там — хряк. — Он указал на дальнюю клетушку. — Отличная скотина, правда? Однако свое лучшее время он уже отживает. С ним тоже придется расстаться.

— Как жестоко! — воскликнула Анна.

— Но как практично, как замечательно реалистично! — сказал мистер Скоуган. — Эта ферма — модель здорового, по-отечески мудрого правления. Заставьте их размножаться, заставьте их работать, а когда их время размножаться, работать или производить пройдет — отправьте их на бойню.

— Занятие сельским хозяйством — это, кажется, одно неприличие и жестокость, — сказала Анна.

Наконечником своей трости Дэнис начал почесывать большую,

покрытую щетиной спину хряка. Животное слегка пошевелилось, словно подставляя себя орудию, которое возбуждало столь приятные ощущения, и замерло, похрюкивая от наслаждения. Многолетняя грязь шелушилась и серыми струйками сыпалась с его боков.

— Какое удовольствие, — сказал Дэнис, — сделать кому-нибудь что-нибудь доброе. Я чешу этого хряка, и, кажется, мне это не менее приятно, чем ему. Если бы только можно было всегда проявлять доброту вот так, без особых усилий.

Хлопнула дверь, раздались тяжелые шаги.

— Доброе утро, Раули! — сказал Генри Уимбуш.

— Доброе утро, сэр! — ответил старый Раули. Он был самого почтенного возраста из всех работников на ферме — высокий, крепкий мужчина, все еще прямой, с седыми бакенбардами и чеканным, величественным профилем. Серьезный, с важными манерами, замечательно представительный, Раули походил на одного из видных государственных деятелей Англии середины девятнадцатого века. Он остановился, не смешиваясь с группой, и некоторое время все смотрели на поросят в молчании, которое нарушалось только хрюканьем или хлюпаньем копыт по грязи. Наконец Раули повернулся, медленно, внушительно, с достоинством, как он делал все, и обратился к Генри Уимбушу.

— Взгляните на них, сэр, — сказал он, указывая рукой на копошившихся в грязи животных. — Их справедливо называют свиньями.

— Да, конечно, — согласился мистер Уимбуш.

— Этот человек приводит меня в смущение, — сказал мистер Скоуган, когда старый Раули не спеша и с достоинством удалился своей тяжелой походкой. — Какая мудрость, какие здравые рассуждения, какая точность в оценках! «Их справедливо называют свиньями!» Да! И хотел бы я с таким же основанием сказать: «Нас справедливо называют людьми!»

Они двинулись дальше, туда, где были коровники и конюшни для ломовых лошадей. На пути им встретилось пять белых гусей, вышедших, так же как и они, подышать воздухом в это чудесное утро. Гуси загоготали, остановившись в нерешительности, потом, вытянув по-змеиному свои длинные шеи, бросились прочь, устрашающе шипя. На просторном дворе в грязи и навозе топтались рыжие телята. В загоне стоял бык, внушительный, как паровоз. Это был очень спокойный бык, и на морде его застыло выражение меланхолической глупости. Он пристально смотрел на пришедших своими красновато-кариими глазами, задумчиво пережевывая утренний корм, сглатывал, отрывивал и снова жевал. Хвост его с силой

хлестал то по одному, то по другому боку и словно существовал отдельно от неподвижного туловища. Между короткими рогами рос треугольник рыжих тугих завитков.

— Прекрасное животное, — сказал Генри Уимбуш. — Племенной бык. Но он тоже стареет, как и хряк.

— Откормите и забейте его, — заявил мистер Скоуган, с отточенной отчетливостью, словно старая дева, произнося каждое слово.

— Неужели вы не можете дать животным немного отдохнуть от производства потомства? — спросила Анна. — Мне жаль бедняг.

Мистер Уимбуш покачал головой.

— Лично мне, — сказал он, — приятно видеть, как четырнадцать свиной растут там, где раньше была одна. Зрелище жизни в таком грубом и сильном проявлении освежает.

— Я рад слышать это, — с жаром перебил Гомбо. — Побольше жизни, вот что нам нужно. Я за размножение: все должно непрерывно расти и умножаться количественно.

Гомбо настроился на лирический лад. У всех должны быть дети — вот у Анны, у Мэри — десятки, десятки детей. Подчеркивая эту мысль, он стал похлопывать тростью по безволосому боку быка. Мистер Скоуган должен передать свой ум маленьким Скоуганам, а Дэнис — маленьким Дэнисам.

Бык повернул голову, чтобы узнать, что происходит, несколько секунд смотрел на трость, стучавшую, как барабанная палка, по его ребрам, потом снова отвернулся, по-видимому, удовлетворенный тем, что ничего не происходит.

— Бесплодие отвратительно, противоестественно, это грех по отношению к жизни, — продолжал Гомбо. — Жизнь, жизнь и еще раз жизнь! — Его трость с треском прошла по ребрам смирно стоящего быка.

Прислонившись спиной к насосу, несколько в стороне от всей группы, Дэнис внимательно изучал ее. Гомбо, пылкий и оживленный, был ее центром. Остальные стояли вокруг и слушали его; Генри Уимбуш, сдержанный и вежливый в своем сером котелке; Мэри, приоткрыв рот, возмущенно сверкая глазами, — убежденная сторонница контроля над рождаемостью. Сквозь полуприкрытые веки, улыбаясь, смотрела на всех Анна, а рядом с ней стоял мистер Скоуган, совершенно прямой, словно отлитый из металла, странно контрастируя с неуловимым движением в ее облике даже в минуты полного покоя.

Гомбо замолчал, и Мэри, покрасневшая и рассерженная, открыла рот, чтобы опровергнуть его. Но не смогла. Прежде чем она успела произнести хоть слово, мистер Скоуган уже изрек своим пронзительным, как флейта,

голосом начальные фразы речи. Надежды вернуть в нее хоть словечко не было. Волей-неволей Мэри пришлось отступить.

— Даже вашего красноречия, дорогой Гомбо, — говорил он, — даже вашего красноречия недостаточно, чтобы заставить человечество перейти в другую веру и убедить его в том, что наслаждение можно получать просто от процесса размножения. После появления граммофона, кинематографа, автоматического пистолета богиня прикладных наук преподнесла миру новый, еще более ценный дар — средство отделения любви от размножения. Эрос для тех, кто пожелает, теперь совершенно свободный бог; нити, прискорбным образом связывающие его с Люциной, могут быть в любое время разорваны. В течение нескольких следующих столетий — кто знает? — мир может стать свидетелем еще более полного разрыва. Я ожидаю этого с оптимизмом. В той области, где осуществляли эксперименты великий Эразм Дарвин и Анна Сьюард — лихфилдский лебедь и при всем их научном рвении не добились успеха, там наши потомки будут экспериментировать и преуспеют. Место ужасной системы, которую дала нам природа, займет обезличенное размножение. Громадные государственные инкубаторы, в которых бесконечные ряды колб с зародышами, дадут миру то население, какое будет ему потребно. Институт семьи исчезнет. Общество, основы которого окажутся подорванными, должно будет найти новые; и Эрос, прекрасный в своей свободе и не скованный ответственностью, будет порхать, словно пестрый мотылек, от цветка к цветку над залитой солнцем землей.

— Привлекательная картина, — сказала Анна.

— Отдаленное будущее всегда привлекательно.

Голубые фарфоровые глаза Мэри, еще более серьезные и удивленные, чем всегда, были устремлены на мистера Скоугана.

— Колбы? — сказала она. — Вы в самом деле так думаете? Колбы?..

Глава шестая

В субботу, во второй половине дня как раз к чаю прибыл мистер Барбекью-Смит. Это был тучный человек с очень большой головой и без шеи. Когда-то, когда он еще был молод, он очень страдал оттого, что у него нет шеи, но утешился, прочитав в «Луи Ламбере» у Бальзака, что все великие люди в истории человечества были отмечены этой особенностью, и по очень простой и очевидной причине: величие — это не более и не менее как гармоничное сочетание качеств головы и сердца. Чем короче шея, тем ближе друг к другу эти два органа; argal^[6]... Это было убедительно.

Мистер Барбекью-Смит принадлежал к старой школе журналистики. Он щеголял львиной головой с гривой черных с сединой, удивительно неопрятных волос, зачесанных назад с широкого, но низкого лба. И сам он казался чуть-чуть, всегда лишь чуть-чуть грязноватым. В более молодые годы он шутливо называл себя человеком богемы. Потом перестал. Теперь он был учитель, своего рода пророк. Тираж некоторых его книг об утешении и духовном учении достиг уже ста двадцати тысяч.

Присцилла приняла его со всеми почестями. Он еще никогда не бывал в Кроме, и она показала ему дом. Мистер Барбекью-Смит был полон восхищения.

— Такой необычный, такой старинный, — повторял он. Голос у него был масляный, почти елейный.

Присцилла похвалила его последнюю книгу.

— Великолепно, просто великолепно, — сказала она со свойственной ей манерой безмерно восхищаться всем.

— Я рад, если книга вам понравилась, — сказал Барбекью-Смит.

— О, потрясающе! А это место про лотосовый пруд — оно мне показалось таким прекрасным!

— Я знал, что оно вам понравится. Видите ли, ко мне это пришло извне. — Он повел рукой, обозначая звездный мир.

Они вышли в сад, где был накрыт стол. Мистера Барбекью-Смита должным образом представили.

— Мистер Стоун тоже пишет, — сказала Присцилла, знакомя его с Дэнисом.

— В самом деле? — милостиво улыбнулся Барбекью-Смит и посмотрел на Дэниса со снисходительностью олимпийца. — И что же вы

пишете?

Дэнис был в ярости и в довершение к этому почувствовал, что густо краснеет. Неужели у Присциллы нет чувства меры? Она ставила их на одну доску — его и Барбекью-Смита! Они оба пишут, оба пользуются пером и чернилами. На вопрос мистера Барбекью-Смита он ответил:

— О, ничего особенного, пустяки. — И отвернулся.

— Мистер Стоун — один из наших молодых поэтов. — Это был голос Анны. Он хмуро посмотрел на нее, а она ответила ему улыбкой, что еще больше вывело Дэниса из себя.

— Отлично, отлично, — сказал мистер Барбекью-Смит и ободряюще сжал руку Дэниса. — Бард — это благородное призвание.

Едва они закончили пить чай, как мистер Барбекью-Смит извинился: он должен немного поработать до обеда. Присцилла вполне его понимала. Пророк удалился к себе в комнату.

Без десяти восемь мистер Барбекью-Смит спустился в гостиную. Он был в хорошем настроении и, идя по лестнице, улыбался и потирал свои большие белые руки. В гостиной кто-то тихо наигрывал на рояле какие-то фрагменты. Мистер Барбекью-Смит попытался угадать, кто бы это мог быть. Наверное, одна из молодых леди. Но нет, это был Дэнис, который, увидев его, поспешно и в некотором смущении встал.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал мистер Барбекью-Смит. — Я очень люблю музыку.

— Тогда я тем более не могу продолжать, — ответил Дэнис. — Я просто бренчу немного.

Они замолчали. Мистер Барбекью-Смит стоял спиной к камину, с удовольствием вспоминая о том, как минувшей зимой он грелся у огня. Он не мог скрыть внутреннего удовлетворения и все продолжал улыбаться, думая о своем. Наконец он повернулся к Дэнису.

— Вы ведь пишете, не так ли?

— Гм, да, пожалуй, — немного.

— Сколько слов вы можете написать за час?

— Признаться, никогда не считал.

— О, вам надо обязательно посчитать, обязательно. Это чрезвычайно важно.

Дэнис напряг память.

— Когда я в хорошей форме, — сказал он, — то полагаю, что статью в тысячу двести слов я пишу приблизительно четыре часа. Но иногда и много дольше.

Мистер Барбекью-Смит кивнул.

— Так, триста слов в час в лучшем случае.

Он вышел на середину комнаты, повернулся на каблуках и опять стал напротив Дэниса.

— Отгадайте, сколько слов я написал сегодня между пятью и половиной восьмого?

— Не могу себе представить.

— Нет, все-таки попробуйте. Между пятью и половиной восьмого — это два с половиной часа.

— Тысячу двести слов, — отважился Дэнис.

— Нет, нет. — Растянувшееся в улыбке лицо мистера Барбекью-Смита весело сияло. — Попробуйте еще раз.

— Тысячу пятьсот слов.

— Нет.

— Сдаюсь, — сказал Дэнис. Он понял, что не может пробудить в себе особого интереса к тому, как пишет мистер Барбекью-Смит.

— Что ж, скажу вам. Три тысячи восемьсот слов. Дэнис раскрыл глаза.

— Вы, должно быть, пишете в день очень много.

Мистер Барбекью-Смит вдруг перешел на чрезвычайно доверительный тон. Он пододвинул табурет, поставил его сбоку от кресла Дэниса, сел и начал говорить тихо и быстро.

— Послушайте меня, — сказал он, положив ладонь на руку Дэниса. — Вам надо зарабатывать своими книгами на жизнь. Вы молоды, вы неопытны. Позвольте дать вам хороший совет.

Интересно, чего хочет его собрат по перу? Дэнис попытался представить себе: может быть, даст ему рекомендательное письмо к редактору журнала «Джон о'Лондонс Уикли»? Или сообщит, кому можно писать небольшие статьи за семь гиней?

Мистер Барбекью-Смит несколько раз похлопал его по руке и продолжал:

— Секрет творчества, — сказал он в самое ухо молодого человека, — секрет творчества — это вдохновение.

Дэнис изумленно посмотрел на него.

— Вдохновение, — повторил мистер Барбекью-Смит.

— Вы имеете в виду поэзию, которая льется из души? Мистер Барбекью-Смит кивнул.

— О, в таком случае я полностью с вами согласен, — сказал Дэнис. — Но что, если вдохновения нет?

— Это именно тот вопрос, которого я ожидал, — ответил мистер Барбекью-Смит. — Вы спрашиваете, что делать, если вдохновения нет?

Отвечаю: у вас есть вдохновение. Вдохновение есть у всех. Вопрос лишь в том, чтобы заставить его работать.

Часы пробили восемь. Но никто не появился: в Кроме все всегда опаздывали. Мистер Барбекью-Смит продолжал:

— Вот мой секрет. Отдаю его вам даром. — Дэнис пробормотал благодарность и сделал соответствующую гримасу. — Я помогу вам найти вдохновение, потому что не хочу видеть, как столь приятный, серьезный молодой человек тратит свою энергию и лучшие годы жизни на каторжный интеллектуальный труд, который можно полностью устранить с помощью вдохновения. Я сам занимался таким трудом и знаю, что это такое. До того как мне исполнилось тридцать восемь, я писал так же, как вы, — без вдохновения. Все, что я сочинил, я выжимал из себя ценой тяжелого труда. Так вот, в те дни я не мог написать свыше шестисот слов в час, и более того, часто мне не удавалось продать то, что я писал.

Он вздохнул.

— Нас, художников, — заметил он между прочим, — нас, интеллигентов, не очень-то ценят в Англии.

Дэнис подумал: нельзя ли как-нибудь, не выходя, конечно, за рамки приличия, отмежеваться от этого «нас» мистера Барбекью-Смита. Подходящего способа не находилось, и, кроме того, было уже слишком поздно, ибо мистер Барбекью-Смит вновь продолжал свои рассуждения.

— В тридцать восемь я был бедным, борющимся за существование, усталым, перегруженным работой, никому не известным журналистом. Сейчас, в пятьдесят... — Он скромно умолк на мгновение, сделал легкий жест и развел пухлые руки, словно демонстрируя что-то. Он демонстрировал себя. Дэнис вспомнил о рекламе молока фирмы «Нестл» — две кошки на стене при свете луны, одна черная и худая, другая белая, гладкая и толстая. До вдохновения и после.

— Все изменилось благодаря вдохновению, — торжественно сказал мистер Барбекью-Смит. — Оно снизошло внезапно, как легкая роса с неба. Это случилось однажды вечером. Я писал мою первую небольшую книгу об этике поведения — «Примеры повседневного героизма». Вы, может быть, читали ее. Она стала моральным подспорьем — по крайней мере я льщу себя этой мыслью — для тысяч людей. Я дошел до середины второй главы и основательно застрял на ней. Безмерно уставший, я написал за последний час всего лишь сотню слов и не мог выжать из себя больше ничего. Я сидел, кусая кончик ручки и глядя на электрическую лампу, которая висела над моим столом — как раз передо мной, но несколько выше.

Он с особой тщательностью показал, как висела лампа.

— Вы когда-нибудь подолгу смотрели пристально на яркий свет? — спросил он, поворачиваясь к Дэнису. Дэнис, пожалуй, не помнил ничего подобного. — Так себя можно загипнотизировать, — продолжал мистер Барбекью-Смит.

Звуки гонга из зала доносились с нарастающей силой. И по-прежнему никого. Дэнис был ужасно голоден.

— Именно это произошло со мной, — сказал мистер Барбекью-Смит. — Я оказался в состоянии гипноза. Потерял сознание — вот так, — он щелкнул пальцами. — Придя в себя, я увидел, что уже далеко за полночь и что я написал четыре тысячи слов. Четыре тысячи! — повторил он, широко открывая рот, когда произносил слова «тысячи». — На меня снизошло вдохновение.

— Какой удивительный случай, — сказал Дэнис.

— Я сначала испугался. Мне казалось это неестественным. Я подумал, что это как-то не совсем правильно, я бы сказал, не совсем честно — создавать литературное сочинение в бессознательном состоянии. Кроме того, я боялся, что, возможно, написал чепуху.

— И вы действительно написали чепуху? — спросил Дэнис.

— Разумеется, нет, — ответил мистер Барбекью-Смит с легким раздражением. — Разумеется, нет. Это было превосходно. Всего лишь несколько ошибок в правописании и описок, таких, какие обычно бывают при механическом письме. Но стиль, идея — все самое главное — было превосходно. После этого случая вдохновение нисходило на меня постоянно. Таким образом я написал полностью «Примеры повседневного героизма». Они имели большой успех, как и все, что я писал с тех пор. — Он наклонился к Дэнису и ткнул его пальцем. — Это и есть мой секрет, — сказал он, — и именно так вы тоже можете писать, если попытаетесь, — без труда, быстро и хорошо.

— Но как именно? — спросил Дэнис, пытаясь скрыть, сколь глубоко оскорбило его это заключительное «хорошо».

— Развивая ваше вдохновение, вступая в контакт с подсознанием. Вы читали мою книжку «Трубопровод к Бесконечности»?

Дэнис вынужден был признаться, что как раз эту, одну из немногих, может быть, даже единственную из книг мистера Барбекью-Смита он не читал.

— Не беда, не беда, — сказал мистер Барбекью-Смит. — Это просто маленькая книжка о связи подсознания с Бесконечностью. Установите контакт с подсознанием — и вы в контакте с Вселенной. В сущности, это и

есть вдохновение. Вы понимаете мою мысль!

— Вполне, вполне, — сказал Дэнис. — Но разве не бывает так, что Вселенная порой шлет вам сигналы, совершенно не подходящие к случаю?

— Я не допускаю этого, — ответил мистер Барбекью-Смит. — Я направляю их через определенные каналы, пропускаю по трубам, заставляя вращать турбины моего сознания.

— Как воды Ниагары, — сравнил Дэнис. Некоторые мысли мистера Барбекью-Смита звучали как цитаты — без сомнения, цитаты из его собственных произведений.

— Совершенно верно, как воды Ниагары. И вот как я делаю это.

Он наклонился вперед и указательным пальцем принялся как бы отбивать такт своим рассуждениям.

— Прежде чем впасть в транс, я сосредоточиваюсь на том, что желаю сделать предметом моего вдохновения. Допустим, я пишу о повседневном героизме. За десять минут до впадения в транс я не думаю ни о чем другом, кроме как о сиротах, помогающих своим маленьким братьям и сестрам, о будничной работе, которую выполняют добросовестно и терпеливо, а мысли сосредоточиваю на таких великих философских истинах, как очищение и возвышение души страданием и алхимическое превращение свинцового зла в золотое добро (Дэнис, снова отмечая цитаты, мысленно развесил гирлянды кавычек). Затем я отключаюсь. Через два-три часа просыпаюсь и вижу, что вдохновение сделало свое дело. Тысячи слов — утешающих, возвышенных слов — лежат передо мной. Я аккуратно перепечатаваю их на машинке, и они готовы к публикации.

— Все это выглядит удивительно просто, — сказал Дэнис.

— Это и есть просто. Все великое, прекрасное и возвышенное в жизни удивительно просто. (Снова кавычки.) Когда мне надо создать несколько афоризмов, я проверяю состояние транс тем, что перелистываю «Словарь цитат» или «Шекспировский календарь», — что окажется под рукой. Это, так сказать, дает ключ, это гарантирует, что Вселенная вольется в мое подсознание не сплошной рекой, а афористичными прерывающимися потоками. Вы понимаете мою мысль?

Дэнис кивнул. Мистер Барбекью-Смит сунул руку в карман и вытащил записную книжку.

— Я написал несколько афоризмов сегодня в поезде, — сказал он, листая страницы. — Погрузился в транс в углу вагона. Я считаю, что поезд — весьма подходящая среда для хорошей работы. Вот они, эти афоризмы.

Он откашлялся и прочел:

—«Путь к вершине может быть крут, но воздух там, наверху, чист, и только с вершины видно далеко». «То, что действительно имеет значение, происходит в сердце».

Любопытно, подумал Дэнис, каким образом иногда повторяется Бесконечность.

—«Видеть — значит верить. Да, но верить — значит тоже видеть. Если я верю в Бога, я вижу Бога даже в том, что кажется злом».

Мистер Барбекью-Смит поднял глаза от записной книжки.

— Этот последний афоризм, — сказал он, — особенно тонкий и красивый, не так ли? Без вдохновения я никогда бы не нашел этой мысли. — Он вновь прочитал апофегму, на этот раз медленнее и торжественнее. — Прямо из Бесконечности, — многозначительно пояснил он, затем обратился к следующему афоризму.

—«Пламя свечи дает свет, но и обжигает». Мистер Барбекью-Смит недоуменно наморщил лоб.

— Я не знаю в точности, что это означает, — сказал он. — Это очень афористично. Можно, конечно, отнести это к высшему образованию — оно просвещает, но побуждает низшие классы на беспорядки и революции. Да, пожалуй, именно это и подразумевается. Но афористично, афористично.

Он задумчиво тер подбородок. Снова загремел гонг — громко, казалось, умоляюще: обед остывал. Звуки его вывели мистера Барбекью-Смита из созерцательного состояния. Он повернулся к Дэнису.

— Теперь вы понимаете, почему я советую вам развивать свое вдохновение. Пусть ваше подсознание работает на вас. Откройте путь для Ниагары Вселенной!

На лестнице раздались чьи-то шаги. Мистер Барбекью-Смит встал, тронул Дэниса за плечо и сказал:

— Больше об этом ни слова. Продолжим в другой раз. И помните: я полностью полагаюсь на вашу скромность. Есть вещи сокровенные, святы, о которых не хочется, чтобы знали все.

— Конечно, — сказал Дэнис. — Я это понимаю.

Глава седьмая

Все кровати в Кроне были старинной, доставшейся в наследство от предков мебелью. Огромные, как четырехмачтовые корабли, со сложенными парусами сияющего чистотой цветного белья, резные и покрытые инкрустацией, крашеные и позолоченные, ореховые, дубовые, из редких экзотических пород деревьев, кровати всех эпох и стилей, от времен сэра Фердинандо, который построил дом, до времен его тезки, жившего в конце восемнадцатого века, последнего из Лапитов, — но все грандиозные и величественные.

Самой замечательной была кровать, доставшаяся сейчас Анне. Сэр Джулиус, сын сэра Фердинандо, заказал ее в Венеции, когда его жена ожидала первого ребенка. В ней воплотились все причуды венецианского искусства начала семнадцатого века. Она была как огромный квадратный саркофаг. Деревянные спинки украшены горельефами: среди розовых кустов резвятся амуры. Позолоченные горельефы на темном фоне дерева. Золотые розы тянулись вверх, обвивая четыре стойки в виде колонн, а восседающие на верху каждой из них херувимы поддерживали деревянный балдахин, украшенный такими же резными цветами.

Анна читала, лежа в постели. На столике рядом с ней горели две свечи. В их ярком свете ее лицо, обнаженная рука и плечо окрасились в теплый цвет — цвет покрытого нежным пушком персика. Над ней на балдахине в густой тени поблескивали резные золотые лепестки, и мягкий свет, падавший на украшенную резьбой спинку кровати, беспокойно мерцал среди причудливых роз, задерживаясь для грубых ласк на пухлых щеках, на ямочках животов, на крепких и неправдоподобно маленьких ягодичках вальяжно раскинувшихся амуров.

В дверь осторожно постучали. Анна подняла глаза.

— Войдите.

Из-за двери выглянуло лицо — круглое и детское, в колокольчике гладко зачесанных золотых волос. Оно показалось еще более детским, когда вслед за ним появился нежно-лиловый пижамный костюм. Это была Мэри.

— Я подумала, что, может быть, загляну на минутку пожелать вам спокойной ночи, — сказала она, усаживаясь на край кровати.

Анна закрыла книгу.

— Очень мило с вашей стороны.

— Что вы читаете? — Мэри бросила взгляд на обложку. — А, литература второго сорта, да?

Она произнесла это тоном огромного внутреннего превосходства. В Лондоне Мэри привыкла общаться только с людьми первого сорта, которые любили все первосортное, и знала, что в мире очень, очень мало первосортного, а то, что есть, главным образом, французское.

— Гм, а мне, пожалуй, нравится, — сказала Анна.

Добавить к этому было нечего. Наступившее вслед за тем молчание становилось довольно тягостным. Мэри, ощущая неловкость, крутила нижнюю пуговицу пижамы. Анна, откинувшись на подушки, ждала, что будет дальше.

— Меня так угнетает мысль о подавленных чувствах, — начала наконец Мэри, неожиданно раздражаясь речью. Она произносила слова с придыханием на окончаниях, так что ей не хватало воздуха даже до конца фразы.

— Отчего же у вас должно быть подавленное настроение?

— Я сказала — подавленные чувства, а не настроение.

— Ах, чувства, вот оно что, — сказала Анна. — Но какие чувства?

Мэри пришлось объяснять.

— Естественное половое влечение... — начала она нравоучительно.

Но Анна прервала ее:

— Да, да. Прекрасно. Понимаю. Подавление чувств. Старая дева и все такое. Ну, так что с этими чувствами?

— В том-то и дело, — сказала Мэри. — Я боюсь подавлять их. Подавлять инстинкты — это очень опасно. Я начинаю замечать в себе симптомы, вроде тех, о которых читаешь в книгах. Мне постоянно снится, что я падаю в колодец. А иногда даже снится, что я карабкаюсь вверх по лестнице. Это в высшей степени тревожно. Симптомы слишком очевидны.

— Вы так думаете?

— Если не принять мер, это может перейти в нимфоманию. Вы не представляете себе, насколько серьезны последствия подавления чувств, если не избавиться от него вовремя.

— Действительно ужасно, — сказала Анна. — Но я не вижу, чем бы я могла вам помочь.

— Я хотела просто поговорить с вами об этом.

— Конечно, конечно, Мэри, дорогая, охотно.

Мэри кашлянула и глубоко вздохнула.

— Я полагаю, — начала она менторским тоном, — я полагаю, мы можем исходить из того, что у интеллигентной молодой женщины двадцати

трех лет, живущей в цивилизованном обществе в двадцатом столетии, не может быть никаких предрассудков.

— Должна признаться, у меня кое-какие есть.

— Но не насчет подавления чувств?

— Нет, насчет подавления чувств не так много, это правда.

— Или, точнее, насчет того, как от этого избавиться.

— Совершенно верно.

— В таком случае зафиксируем это как постулат, — сказала Мэри. Торжественность выражалась в каждой черточке ее круглого юного лица, лучилась из больших голубых глаз.

— Теперь мы подходим к вопросу о желательности обладания собственным опытом. Надеюсь, мы согласны в том, что знание желательно, а неведение — нежелательно?

Послушная, как один из тех почтительных учеников, от которых Сократ мог добиться любого нужного ему ответа, Анна согласилась с этим утверждением.

— И мы, я надеюсь, равным образом согласны в том, что брак означает то, что он означает.

— Да.

— Отлично! — сказала Мэри. — А подавление чувств является тем, чем оно является...

— Совершенно верно.

— Следовательно, вывод может быть только один.

— Но я это знала, — воскликнула Анна, — еще до того, как вы начали!

— Да, но теперь он подтвержден доказательством, — сказала Мэри. — Надо все доказывать логически. Вопрос теперь в том...

— Но какой вопрос? Вы пришли к единственно возможному выводу — логически, а это больше, чем я могла бы сделать. Все, что остается, так это поделиться вашей информацией с кем-то, кто вам нравится, кто вам действительно очень нравится, в кого вы влюблены, если мне будет позволено выразиться столь откровенно.

— Но в этом-то весь вопрос и есть, — воскликнула Мэри. — Я ни в кого не влюблена. Но я не могу больше, чтобы мне каждую ночь снилось, как я падаю в колодезь. Это слишком опасно.

— Что же, если это действительно слишком опасно, тогда вам, конечно, надо что-то делать; вы должны найти кого-нибудь.

— Но кого? — Задумчивая складка изогнула ее брови. — Это должен быть кто-то интеллигентный, кто-то с интеллектуальными запросами, которые я могу разделить, с подобающим уважением к женщине; кто готов

серьезно говорить о своей работе и о том, что он думает, и о моей работе и о том, что я думаю. Как видите, найти подходящего человека совсем не легко.

— Гм, — сказала Анна, — в настоящее время в доме трое свободных и интеллигентных мужчин. Начать хотя бы с мистера Скоугана. Правда, он, пожалуй, несколько библейского возраста. Есть еще Гомбо и Дэнис. Согласны ли мы в том, что выбор ограничивается двумя последними?

Мэри кивнула.

— Я думаю, нам следует... — сказала она, но остановилась в нерешительности со смущенным видом.

— Что?

— Я подумала о том, — сказала Мэри, прерывисто дыша, — действительно ли они свободны Я подумала о том, что вы, может быть... вы, может быть...

— Милая Мэри, это очень любезно с вашей стороны подумать обо мне, — сказала Анна, улыбаясь скупой кошачьей улыбкой. — Но что касается меня, то они оба совершенно свободны.

— Я очень рада этому, — сказала Мэри с явным облегчением. — Теперь перед нами встает вопрос: который из двух?

— Я не могу давать советов. Это вопрос вашего вкуса.

— Это вопрос не моего вкуса, а их достоинств, — заявила Мэри. — Нам с вами надо взвесить и рассмотреть их тщательно и беспристрастно.

— Вы должны взвешивать сами, — сказала Анна. В уголках ее рта и вокруг полужакрытых глаз все еще оставался след улыбки. — Я не стану брать на себя такой риск, не хочу дать вам неправильный совет.

— Гомбо талантливее Дэниса, — начала Мэри, — но он хуже воспитан. — То, как Мэри произносила слово «воспитан», придавало ему особое, дополнительное значение. Она выговаривала его очень тщательно, мягко придыхая на ударной гласной. Воспитанных людей так мало, и они, как и первоклассные произведения искусства, большей частью французы. — Воспитанность — это ведь самое главное, не так ли?

Анна подняла руку.

— Не буду давать советов, — сказала она. — Вы сами должны решить.

— Семья Гомбо из Марсея, — задумчиво продолжала Мэри. — Довольно опасная наследственность, если подумать об отношении романских народов к женщинам. Но с другой стороны, я иногда спрашиваю себя, насколько Дэнис серьезен, не дилетант ли он. Все это очень трудно. А вы как думаете?

— Я не слушаю, — сказала Анна. — Отказываюсь взять на себя

какую-либо ответственность.

Мэри вздохнула.

— Что же, — сказала она, — пожалуй, мне лучше отправиться в постель и подумать об этом.

— Тщательно и беспристрастно, — сказала Анна.

В дверях Мэри обернулась.

— Спокойной ночи, — сказала она и не нашла ответа на вопрос, почему при этих словах Анна улыбнулась своей странной улыбкой. Возможно, за этим ничего не было, подумала она. Анна часто улыбалась без видимой причины: очевидно, это просто привычка. — Надеюсь, мне сегодня не будет опять сниться, что я падаю в колодец, — добавила она.

— Лестницы хуже, — сказала Анна. Мэри кивнула.

— Да, лестницы — это намного серьезнее.

Глава восьмая

По воскресеньям завтрак накрывался на час позже, чем в будни, и Присцилла, которая обычно не появлялась до середины дня, на этот раз удостоила его своим присутствием. Одета в черный шелк, с рубиновым крестом и привычной ниткой жемчуга на шее, она сидела во главе стола. Огромная воскресная газета скрывала от внешнего мира все, за исключением самой вершины ее прически.

— Смотрите-ка, «Суррей» выиграл, — говорила она с набитым ртом. — Солнце сейчас в созвездии Льва, этим все и объясняется!

— Прекрасная игра — крикет, — пылко воскликнул мистер Барбекью-Смит, не обращаясь ни к кому в особенности. — В высшей степени типичная для Англии.

Сидевшая рядом с ним Дженни внезапно вздрогнула и оглянулась.

— Что? — сказала она. — Что?

— Типичная для Англии, — повторил мистер Барбекью-Смит. Дженни удивленно посмотрела на него.

— В Англии? Конечно, я родилась в Англии.

Он начал объяснять свою мысль, но тут миссис Уимбуш опустила воскресную газету и открыла взорам свое квадратное, багровое, напудренное лицо в обрамлении оранжевого великолепия ее прически.

— Они начинают новую серию статей о мире ином, — сказала она. — Сегодняшняя называется «Земля вечного лета и геенна».

— Земля вечного лета, — повторил мистер Барбекью-Смит, закрывая глаза. — Земля вечного лета. Прекрасный заголовок. Прекрасный.

Мэри заняла место рядом с Дэнисом. В итоге тщательных размышлений минувшей ночью она остановила свой выбор на нем. Он, возможно, не так талантлив, как Гомбо, ему, быть может, немного не хватает серьезности, но зато он как-то надежнее.

— А вы много пишете стихов здесь, вдали от Лондона? — спросила она приветливо и серьезно.

— Совсем не пишу, — отрывисто ответил Дэнис. — Я не взял с собой пишущей машинки.

— Но неужели вы хотите сказать, что без машинки не можете писать?

Дэнис покачал головой. Он терпеть не мог разговаривать за едой и, кроме того, хотел послушать, что говорил на другом конце стола мистер Скоуган.

— Мой проект церковной реформы замечательно прост, — говорил тот. — В настоящее время англиканские священники носят свои воротники задом наперед. Я бы обязал их носить задом наперед не только воротники, но и всю одежду — сюртук, жилет, брюки, ботинки, — с тем чтобы каждое духовное лицо являло миру гладкий фасад, который не портили бы запонки, пуговицы или шнурки. Введение подобного костюма послужило бы полезным средством сдерживания для тех, кто намеревается посвятить себя служению церкви. В то же время это значительно прибавило бы, как справедливо требовал архиепископ Лод, «красоты святости» тем немногим неисправимым людям, кого не удастся удержать от принятия сана.

— Оказывается, в аду, — сказала Присцилла, продолжая читать воскресную газету, — дети развлекаются тем, что сдирают кожу с живых ягнят.

— А, дорогая леди, но это только символ, — воскликнул мистер Барбекью-Смит. — Материальный символ духооной истины. Ягнята символизируют...

— А кроме того, есть еще военная форма, — продолжал мистер Скоуган. — Когда ярко-красные и нежно-белые цвета были заменены на хаки, некоторые люди с ужасом думали о том, как дальше пойдет война. Но затем, увидев, насколько элегантен новый мундир, как плотно он облегал талию, как боковые карманы подчеркивают бедра, когда эти люди осознали все блестящие потенциальные возможности бриджей и высоких ботинок, — они успокоились. Устраните этот изысканный военный стиль, введите для всех форму из мешковины и прорезиненные плащи, и вы скоро увидите, что...

— Кто-нибудь поедет со мной в церковь? — спросил Генри Уимбуш. Никто не ответил. Он попытался сделать свое предложение более заманчивым. — Тексты читаю я. А проповеди мистера Бодиэма иногда заслуживают того, чтобы их послушать.

— Спасибо, спасибо, — сказал мистер Барбекью-Смит. — Я, со своей стороны, предпочитаю молиться в безграничном храме природы. Как это у нашего Шекспира? «Проповедь в книгах, камнях и бегущих ручьях...»

Он взмахнул рукой, заключая эти слова жестом в сторону окна, но тут же у него появилось сначала смутное, а затем все более отчетливое ощущение, что в его цитате было что-то неточное. Но что, что именно неточно? Проповедь? Камни? Книги?

Глава девятая

Приходский священник мистер Бодиэм сидел у себя в кабинете. Псевдоготические окна девятнадцатого века, узкие, цветные, пропускали свет очень скупо, и в комнате, несмотря на прекрасную июльскую погоду, было темно. Коричневые лакированные полки, вытянувшиеся вдоль стен, ряд за рядом были заполнены теми толстыми тяжелыми богословскими сочинениями, которые букинисты обычно продают на вес. Коричневая лакированная каминная доска, резное украшение над ней. Коричневый лакированный письменный стол. Такие же стулья, такая же дверь. Пол покрывал темный красно-коричневый ковер с узорами. В комнате все было коричневым и удивительно пахло коричневым.

В центре этой сумрачной коричневой картины сидел за столом мистер Бодиэм. Это был человек в Железной Маске. Серое металлическое лицо с железными скулами и узким железным лбом. Железные складки, твердые и неподвижные, прорезали щеки сверху вниз. Нос как железный клюв небольшой изящной хищной птицы. Карие глаза в глубоких, будто оправленных железом впадинах, вокруг них — темная, словно обуглившаяся кожа. Густые черные жесткие волосы уже начинали седеть. Уши очень маленькие и изящные; тщательно выбритые щеки, подбородок, верхняя губа были темными, железно-темными. Голос, особенно когда он возвышал его во время проповеди, звучал резко, как скрежет железных петель редко открываемой двери.

Приближалась половина первого. Мистер Бодиэм только что вернулся из церкви, охрипший и усталый после проповеди. Он читал ее с яростью, со страстью — железный человек, бьющий цепом по душам своей паствы. Но души верующих в Кроме были сделаны из резины, из твердой резины: цеп отскакивал. В Кроме привыкли к мистеру Бодиэму. Цеп безжалостно молотил по резине, но чаще всего резина спала.

В это утро он, как нередко и раньше, читал проповедь о сущности Бога. Он пытался заставить их понять сущность Бога и то, как страшно оказаться под его рукой. Бог — они представляли себе нечто доброе и милосердное. Они закрывали глаза на факты. Более того, они закрывали глаза на Библию. Пассажиры «Титаника» пели, когда пароход погружался на дно, «Ближе к тебе, Господи!». Осознавали ли они, к чему хотели быть ближе? К белому пламени праведности, яростному пламени...

Когда проповедовал Савонарола, люди громко рыдали и стонали. Но

ничто не нарушало вежливой тишины, в которой Кром слушал мистера Бодиэма, — лишь кашель время от времени да иногда тяжелый вздох. На передней скамье сидел Генри Уимбуш — невозмутимый, воспитанный, прекрасно одетый. Случалось, мистеру Бодиэму хотелось прыгнуть с кафедры и встряхнуть его как следует — или же избить и убить всю свою паству.

Подавленный, он сидел за столом. За стеклами готических окон земля дышала теплом и великолепным покоем. Все было как всегда. И все же, все же... Вот уже почти четыре года прошло с тех пор, как он произнес ту проповедь на тему стиха седьмого 24-й главы Евангелия от Матфея. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам...» Почти четыре года назад. Он издал эту проповедь — было так ужасно важно, насущно необходимо, чтобы все люди узнали, что он хотел сказать. Экземпляр небольшой брошюры лежал на столе — восемь маленьких серых страниц, отпечатанных шрифтом, который ступился, как зубы старого пса, от бесконечного чавканья печатной машины. Мистер Бодиэм открыл брошюру и снова, в который раз, начал перечитывать ее.

«Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам...» Девятнадцать столетий минуло с тех пор, как наш Господь произнес эти слова, и ни одно из этих столетий не прошло без войн, болезней, голода и землетрясений. Могуущественные империи обращались в прах, болезни уносили половину человечества, тысячи людей погибали в катаклизмах природы — от наводнений, пожаров и ураганов. Это происходило снова и снова в течение девятнадцати столетий, но ни разу не заставило Христа вернуться на Землю. Это были «знамения времени», поскольку говорили о гневе Божьем, обращались к неизлечимым порокам человечества, но они не были знамением второго пришествия.

Если благочестивый христианин воспринял нынешнюю войну как истинный знак приближающегося возвращения Господа нашего, то это не просто потому, что она охватила весь мир и унесла жизни миллионов людей, не просто потому, что голод сжал своими объятиями все страны Европы, не просто потому, что самые разные болезни — от сифилиса до сыпного тифа — распространились среди воюющих народов. Нет, не по этим признакам мы считаем эту войну истинным знамением времени, а потому, что в своей первопричине и в своем развитии она отмечена определенными чертами, которые почти несомненно связывают ее с пророчествами о втором пришествии Господа.

Я хотел бы перечислить те черты нынешней войны, которые наиболее ясно указывают, что она — это знамение близкого второго пришествия. Наш Господь сказал, что «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец». Хотя было бы самонадеянным с нашей стороны сказать, когда Бог сочтет, что человечество в достаточной степени обращено в христианскую веру, мы можем по крайней мере твердо надеяться, что столетие неустанного миссионерского труда, во всяком случае, приблизило выполнение этого условия. Верно, немало из тех, кто населяет Землю, все еще глухи к проповеди истинной религии. Но это не изменяет того факта, что Евангелие проповедуется «во свидетельство» всем неверующим — от паписта до зулуса. Вина за продолжающееся распространение неверия лежит не на проповедниках, а на тех, к кому их проповеди обращены.

Далее, слова о высыхании вод великой реки Евфрата в шестнадцатой главе Откровения Иоанна Богослова подразумевают, по всеобщему мнению, ослабление и полный упадок турецкого могущества и являются признаком приближающегося конца мира, как мы его понимаем. Взятие Иерусалима и успехи в Месопотамии — крупные вехи на пути к сокрушению Оттоманской империи, хотя галлиполийский эпизод, надо признать, показал, что турки все еще обладают значительной силой. В историческом плане это иссыхание оттоманского могущества продолжается на протяжении вот уже целого столетия. В последние два года мы стали свидетелями значительного ускорения этого процесса, и не может быть сомнения в том, что близится его полное завершение.

Непосредственно за словами о высыхании вод Евфрата следует пророчество об Армагеддоне, этой мировой войне, с которой так тесно связывается второе пришествие. Начавшись, мировая война может окончиться только возвращением Христа, и придет он скоро и внезапно, как появляется тать в ночи.

Давайте рассмотрим факты. В истории — точно также, как в Откровении святого Иоанна — мировой войне непосредственно предшествует высыхание вод Евфрата или ослабление турецкого могущества. Уже одного этого факта было бы достаточно, чтобы связать нынешнюю войну с Армагеддоном Откровения и, следовательно, указать на приближающееся второе пришествие. Однако можно привести и другие, более существенные и убедительные доказательства.

Армагеддон вызывается действием трех духов нечистых, подобных жадам, выходящих из уст дракона, зверя и лжепророка. Если мы сумеем опознать эти три силы зла, то прольем на весь этот вопрос значительно

больше света.

Дракон, зверь и лжепророк — все они могут быть опознаны в истории. Сатана, который способен действовать лишь через посредство человека, использовал эти три силы в долгой войне против Христа, наполнившей последние девятнадцать столетий религиозными раздорами. Дракон, как установлено с достаточной убедительностью, — это языческий Рим, а дух, вышедший из его уст, это дух безбожия. Зверь, иногда изображаемый также в виде женщины, — это, без сомнения, власть папы римского, а дух, который она изрыгает, — это папизм. И есть только одна сила, которая отвечает описанию лжепророка, волка в овечьей шкуре, слуги дьявола, притворяющегося ягненком, и эта сила — так называемое «общество Иисуса». Дух, выходящий из уст лжепророка, — это дух лжеморали.

Мы можем, таким образом, исходить из того, что три злых духа — это безбожие, папизм и лжемораль. Стали ли эти три силы подлинной причиной нынешнего столкновения? Ответ ясен.

Дух безбожия в высшей степени свойствен немецкой критической мысли. «Школа критического осмысления Библии», как ее, словно в насмешку, называют, отрицает возможность чуда, предсказания и истинного наития и пытается объяснить Библию с точки зрения естественной истории. Медленно, но верно в течение последних восьмидесяти лет дух безбожия отнимал у немцев Библию и веру, так что Германия стала сегодня нацией неверующих. «Школа критического осмысления Библии» сделала, таким образом, возможной нынешнюю войну, ибо для любой христианской нации было бы совершенно немыслимо вести войну так, как ведет ее Германия.

Мы подходим теперь к духу папизма, который способствовал возникновению войны почти в такой же степени, как дух безбожия, хотя, возможно, не столь очевидно. Со времени франко-прусской войны власть папы постоянно и неуклонно слабеет во Франции, в то время как в Германии эта власть усиливается. Сегодня Франция — антипапское государство, а Германия располагает могущественным католическим меньшинством. Два государства, контролируемых римским папой, Германия и Австрия, находятся в войне с шестью антипапскими государствами — Англией, Францией, Италией, Россией, Сербией и Португалией. Бельгия, конечно, полностью папская страна, и присутствие на стороне союзников элемента столь чужеродного немало затруднило победу нашего правого дела и объясняет наши временные неудачи. То, что дух папизма стоит за этой войной, достаточно ясно видно, таким образом, уже из того, как группируются противостоящие силы, а мятеж в

католических районах Ирландии просто подтверждает вывод, очевидный для любого непредубежденного человека.

Дух лжепророка сыграл в этой войне такую же значительную роль, как и два других злых духа. Инцидент с «клочком бумаги» — самый последний и наиболее очевидный пример приверженности Германии этой по своей сущности нехристианской иезуитской морали. Цель — мировое господство Германии, и для достижения этой цели оправданы любые средства. Это подлинный принцип иезуитства в применении к международной политике.

Итак, все три злых духа опознаны. Как предсказано в Откровении, они появились, как раз когда приближался к своему завершению процесс упадка Оттоманской империи, и объединились, чтобы подготовить мировую войну. «Се иду, как тать» — сказано, таким образом, для нынешнего периода — для вас, для меня, для всего человечества. Нынешняя война неизбежно приведет к Армагеддону, и конец ей будет положен лишь личным возвращением Господа.

И что же случится, когда он вернется? Те, кто во Христе, говорит нам святой Иоанн, будут званы на вечерю Агнца. Тех же, кто окажется в войне против него, позовут на великую вечерю Божию — эту страшную трапезу, где не они, а ими будут пировать. «И, — говорит святой Иоанн, — увидел я одного ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громовым голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих». И все враги Христа будут убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитаются их трупами. Это и будет великая вечеря Божия.

Это может быть скоро, а может не скоро, в зависимости от того, как люди считают время. Но раньше или позже Господь неизбежно придет и избавит человечество от его нынешних бед. И горе тем, кого позовут не на вечерю Агнца, а на великую вечерю Божию. Они осознают тогда — но слишком поздно, — что Бог — не только прощение, но и гнев. Бог, который послал медведей, чтобы разорвать тех, кто дразнил Елисея, Бог, поразивший египтян за их неисправимые пороки, — этот Бог, без сомнения, покарает и их, если они только не поспешат раскаяться. Но, быть может, сделать это уже слишком поздно. Кто знает, возможно завтра, возможно даже через мгновение, Христос окажется среди нас, неузнанный, как тать? И вскоре — кто знает? — ангел, стоящий на солнце, возможно, будет сзывать воронов и ястребов вылететь из щелей в скалах и напиться разлагающимися трупами миллионов неправедных, которых поразил гнев

Господний. Посему готовьтесь: пришествие Господа близится. Да будет оно для всех вас освящено надеждой и ни на мгновение не заставит ожидать его с ужасом, трепетом».

Мистер Бодиэм закрыл брошюрку и откинулся в кресле. Доводы его были убедительны, совершенно неотразимы. И все же... Четыре года прошло с тех пор, как он произнес эту проповедь. Четыре года, а в Англии установился мир, солнце сияло, жители Крома были греховны и равнодушны, как всегда, — более, чем всегда, пожалуй, если это только возможно. Если бы он только мог понять это, если бы небеса подали хоть какой-нибудь знак! Сидя здесь в коричневом лакированном кресле у окна в стиле Рёскина, он готов был громко кричать. Он сжал подлокотники кресла — сильнее, сильнее, чтобы восстановить самообладание. Суставы его пальцев побелели. Он прикусил губу. Через несколько секунд он был в состоянии расслабиться и начал корить себя за свою мятежную нетерпеливость.

Четыре года, думал он. Что такое, в конце концов, четыре года? Неминуемо понадобится намного больше, чтобы Армагеддон созрел, взошел, как на дрожжах. События 1914 года — лишь первое столкновение. Что же касается окончания войны — оно, конечно же, иллюзорно. Война все еще продолжается, тлея в Силезии, в Ирландии, в Анатолии. Недовольства в Египте и Индии, возможно, расчищают путь к распространению кровопролития среди нехристианских народов. Китайский бойкот Японии и соперничество между этой страной и Америкой в Тихом океане, возможно, становятся семенами новой большой войны на Востоке. Будущее, старался уверить себя мистер Бодиэм, сулит надежду. Настоящий, подлинный Армагеддон, быть может, скоро начнется, и тогда, как тать в ночи... И все же, несмотря на утешительные объяснения, его томили грусть и неудовлетворенность. Четыре года назад он был таким уверенным. Помыслы Бога казались такими ясными. А теперь? Теперь он был разгневан и в гневе своем прав. Но этого мало: он страдал...

Тихо и внезапно, как призрак, появилась миссис Бодиэм, бесшумно скользнула по комнате. Бледное лицо над черным платьем отливало матовой белизной, глаза бесцветны, как вода в стакане, соломенные волосы почти так же бесцветны. В руке она держала большой конверт.

— Это пришло для вас по почте, — тихо сказала она.

Конверт был не запечатан. Машинально мистер Бодиэм разорвал его. В конверте оказалась брошюра, потолще его собственной и изящнее оформленная. «Фирма Шинни. Доставка одежды для священнослужителей,

Бирмингем». Он раскрыл брошюру: каталог был отпечатан со вкусом, в старинной манере, с замысловато расписанными в готическом стиле буквицами. Каждую страницу окаймляли красные линии по краям полей, пересекавшиеся в углах на манер оксфордской рамы для картин, вместо точек стояли маленькие красные кресты. Мистер Бодиэм перевернул несколько страниц.

«Готовая одежда.

Сутаны из лучшей черной мериносовой шерсти — всех размеров.

Сюртуки для священников. От девяти гиней и выше. Изящное облачение, скроенное нашими опытными портными, специализирующимися на платье для духовных лиц».

Иллюстрации, выполненные способом автотипии, представляли молодых священнослужителей. Одни были маленькие и щеголеватые, другие рослые и мускулистые, каким впору играть в регби, третьи с аскетическими лицами и большими исступленными глазами. Они были одеты в сюртуки, стихари, в вечерние одеяния, в черные норфолкские костюмы.

«Большой выбор церковных облачений.

Пояса из вервья.

Особые полурясы, только в нашем магазине. Подвязываются шнуром у пояса. Надетые под стихарь, выглядят совершенно как полное облачение. Незаменимы для летней погоды и в условиях жаркого климата».

С ужасом и отвращением мистер Бодиэм бросил каталог в корзинку. Миссис Бодиэм взглянула на него. В ее бледных тусклых глазах ничего не отразилось.

— Люди здесь, — сказала она своим тихим голосом, — становятся с каждым днем хуже и хуже.

— Что еще случилось? — спросил мистер Бодиэм, чувствуя себя внезапно очень усталым.

— Сейчас расскажу.

Она пододвинула коричневое лакированное кресло и села.

— В Кроме, видимо, второй раз явились на свет Содом и Гоморра.

(Проповедь, приписываемая в девятой главе мистеру Бодиэму, воспроизводит содержание выступления преподобного И. Г. Хорна в 1916 году нашей эры перед священнослужителями, позднее опубликованное. Оно было переиздано им в качестве приложения к его же небольшой книге, озаглавленной «Значение воздушной войны» (издательство «Маршалл, Морган энд Скотт». — *Примечание автора*).

Глава десятая

Дэнис не танцевал, но когда потоками приторного горячего запаха духов, вспышками бенгальских огней из пианолы поплыла мелодия регтайма, все в нем подчинилось ее ритму. Маленькие черные корпускулы плясали и барабанили, как негры, в его артериях. Он стал пленником движения, двуногим дансингом. Это было неприятно, как первые признаки болезни. Он сидел на одном из диванов у окна, угрюмо притворяясь, будто читает книгу.

За пианолой сидел Генри Уимбуш; покуривая длинную сигару в янтарном мундштуке, он с невозмутимым терпением извлекал из инструмента оглушительную танцевальную музыку. Гомбо и Анна, слившись друг с другом, двигались с такой слаженностью, что казались одним существом — с двумя головами и четырьмя ногами. С комической торжественностью кружил по комнате мистер Скоуган, пригласивший на танец Мэри. Дженни устроилась в тени за пианино, делая заметки — так по крайней мере казалось — в большом красном блокноте. Присцилла и мистер Барбекью-Смит, сидя в креслах у камина, говорили о высоких материях, при этом их совершенно не беспокоил шум, относящийся к материи низшего порядка.

— Оптимизм, — говорил мистер Барбекью-Смит тоном, не допускающим возражений, повышая голос, чтобы его было слышно сквозь мелодию «Знойных женщин», — оптимизм — это раскрытие души навстречу свету, это движение к Богу и непосредственно в него, это духоовное самоединение с бесконечным.

— Как верно! — вздохнула Присцилла, качнув убийственным великолепием своей прически.

— Пессимизм, с другой стороны, — это сужение души и движение ее к тьме. Это сосредоточение внутреннего «я» на материи низшего порядка. Это духоовное рабское подчинение голым фактам, грубым физическим явлениям.

«Знойные женщины, они и во мне разжигали огонь желания!» — сам собой звучал в голове Дэниса припев. Да, разжигали, черт их возьми! Страсть горела в нем — но недостаточно, вот в чем беда. Страсть горела внутри, дразнила, терзала его желанием (да, «терзать» — это самое подходящее слово). Однако внешне он безнадежно робок. Как овца: бе-е, бе-е, бе-е.

Вот они, Анна и Гомбо,двигающиеся вместе, словно одно гибкое существо. Зверь с двумя спинами. А он сидит в углу, притворяясь, что читает, что не хочет танцевать, что даже презирует танцы. Почему? Да все по той же причине: бе-е, бе-е.

Почему он родился с таким лицом? Почему? У Гомбо медное лицо не знающего радости человека, он словно старинный, могучий таран, которым били в городские стены, пока не сокрушали их. А вот он родился с другим лицом. С пушистой мордочкой ягненка.

Музыка смолкла. Единое, слаженно двигавшееся существо распалось на две части. Раскрасневшаяся, немного задыхающаяся, Анна проплыла по комнате к пианолу, положила руку на плечо мистера Уимбуша.

— А теперь вальс, пожалуйста, дядя Генри, — сказала она.

— Вальс, — повторил он и повернулся к шкафчику, где лежали валики. Он вытащил валик с регтаймом и вставил на его место другой — фабричный раб, безропотный и прекрасно обученный. «Рам, там; рам-ти-ти, там-ти-ти»... Медленно, как корабль по мертвой зыби, поплыла мелодия. Четырехное существо, еще более изящное и слаженное в своих движениях, заскользило по полу. О, почему только он родился не с таким лицом!

— Что вы читаете?

Он с удивлением поднял голову. Это была Мэри. Она только что вырвалась из неприятных объятий мистера Скоугана, который выбрал теперь своей жертвой Дженни.

— Не знаю, — честно ответил Дэнис. Он взглянул на титул. Книга называлась «Спутник скотовода».

— По-моему, вы поступаете очень разумно, сидя тут тихо с книгой, — сказала Мэри, остановив на нем неподвижный взгляд своих фарфоровых глаз. — Не знаю, зачем только люди танцуют. Это так скучно.

Дэнис не ответил. Она раздражала его. Из кресла у камина доносился низкий голос Присциллы.

— Скажите мне, мистер Барбекью-Смит, — вам все известно о науке, я знаю. — Из кресла мистера Барбекью-Смита раздалось протестующее восклицание. — Эта теория Эйнштейна... Она, кажется, может опрокинуть весь звездный мир. Я так беспокоюсь за мои гороскопы. Видите ли...

Мэри возобновила атаку.

— Кто из современных поэтов вам больше нравится? — спросила она.

Дэнис не на шутку разозлился. Почему эта назойливая девица не оставит его в покое? Ему хотелось слушать эту ужасную музыку, смотреть, как они танцуют, — с каким изяществом, словно созданы друг для друга!

— хотелось лелеять свое горе в одиночестве. А она пришла и устроила ему этот идиотский допрос. Как «Вопросы Мангольда»: «Назовите три болезни пшеницы...» Кто из современных поэтов вам больше нравится?

— Блайт, Майлдью и Смат^[7], — ответил он с лаконичностью не знающего сомнений человека.

Прошло несколько часов, прежде чем Дэнис сумел наконец уснуть в эту ночь. Он испытывал неясные, но мучительные страдания. Причиной их была не только Анна, но и он сам, будущее, жизнь вообще. Вселенная. «Ужасно труден этот юношеский возраст», — то и дело повторял он про себя. Но тот факт, что он знал свою болезнь, не помог ему исцелить ее.

Сбросив одеяла на пол, он решил искать облегчения в сочинении стихов. Ему хотелось заключить в слова свою безымянную тоску. Приблизительно через час в скрипе пера и пометках родились на свет девять более или менее законченных строк.

Чего хочу, не знаю сам,
В июльский теплый этот вечер,
Прислушиваясь к голосам
Твоим, о разомлевший ветер!
Чего хочу я и к чему
Стремлюсь душою — не пойму.
По рекам времени кочуя,
Не знаю сам, чего хочу я,
Не знаю сам^[8].

Дэнис прочитал стихи вслух, потом бросил в корзинку исписанный лист и снова лег в постель. Через несколько минут он уже крепко спал.

Глава одиннадцатая

Мистер Барбекью-Смит уехал. Автомобиль умчал его на станцию, и в воздухе еще стоял легкий запах выхлопных газов. Пожелать ему счастливого пути вышли к воротам почти все обитатели Крома. Теперь они шли назад к террасе и саду, обходя дом вокруг. Все молчали, никто не решался заговорить об уехавшем госте первым.

— Итак? — сказала наконец Анна, повернувшись к Дэнису и вопросительно подняв брови. Кто-то должен был начать.

Дэнис отклонил приглашение, переадресовав его мистеру Скоугану.

— Итак? — сказал он.

Мистер Скоуган не ответил. Он просто повторил вопрос:

— Итак?

Подвести итог предоставлялось Генри Уимбушу.

— Весьма приятное дополнение к нашему собранию, — сказал он похоронным тоном.

Занятые своими мыслями, они спускались по тисовой аллее, которая, обходя террасу сбоку, вела вниз, к бассейну. Здание нависало над ними своими башнями, необыкновенно высокое, и тридцать футов искусственной террасы добавлялись к семидесяти футам его кирпичного фасада. Стремительно взмывали вверх вертикальные линии трех башен, усиливая впечатление ошеломляющей высоты. У края бассейна все остановились и оглянулись.

— Человек, построивший этот дом, знал свое дело, — сказал Дэнис — Это был архитектор!

— Вы так думаете? — задумчиво спросил Генри Уимбуш. — Сомневаюсь. Дом построил сэр Фердинандо Лапит, выдвинувшийся во время царствования Елизаветы. Он наследовал это поместье от своего отца, которому оно было даровано во время гонения на монастыри. Ведь Кром был раньше монастырем, а этот бассейн — прудом, в котором монахи разводили рыбу. Сэру Фердинандо недостаточно было просто приспособить для себя старые монастырские здания. Используя их как каменоломни для сооружения амбаров, коровников и надворных построек, он возвел для себя грандиозное новое кирпичное здание — то, которое вы сейчас видите.

Он махнул рукой в направлении дома и замолчал. Суровый, величественный, даже, пожалуй, грозный, Кром нависал над ними.

— Замечательно в Кроме то, — сказал мистер Скоуган, не упустивший возможности вставить слово, — что он представляет собой столь бесспорное и явное произведение искусства. Он не ищет компромисса с природой, но смело противостоит ей и восстает против нее. Он не уподобляется замку Шелли из «Эпипсихидиона», который, если мне не изменяет память,

Не сотворен искусством человека,
Из недр земли вознесся ясным днем.
Есть нечто титаническое в нем,
Неотделим от гор, воздушен, строен,
Он точно из камней живых построен^[9].

Нет, нет, подобной чепухи о Кроме не скажешь. Спору нет, крестьянские лачуги действительно должны выглядеть так, как если бы они выросли из земли, к которой привязаны их обитатели. Но дом образованного и цивилизованного человека, человека утонченного вкуса ни в коем случае не может выглядеть так, словно он сделан из глины. Он скорее должен подчеркивать, как далеко он отстоит от жизни природы. Со времен Уильяма Морриса — это факт, который мы в Англии не в состоянии понять. Цивилизованные, с утонченным вкусом люди всерьез изображали из себя крестьян. Отсюда стилизация, искусство и ремесла, архитектура загородных домов и все прочее. У нас в пригородах вы можете увидеть бесчисленные ряды повторяющих друг друга нарочито причудливых подражаний деревенской лачуге и подделок под нее. Лачуга, которая в соответствующей среде, без сомнения, имеет свою прелесть, в ней тоже «есть нечто титаническое», — лачуга появилась на свет вследствие бедности, невежества и ограниченного выбора материалов. Ныне мы используем наши деньги, технические знания, огромное разнообразие материалов для строительства миллионов псевдолачуг в совершенно неподходящей для этого среде. Это ли не предел скудоумия?

Генри Уимбуш поспешил схватить нить своей прерванной речи.

— Все, что вы говорите, дорогой Скоуган, определенно очень справедливо, очень верно, — начал он. — Но я, однако, сомневаюсь, разделит ли бы сэр Фердинандо ваши взгляды на архитектуру и даже имел ли он вообще какие-нибудь взгляды на нее. При постройке этого здания

сэра Фердинандо беспокоила, в сущности, только одна мысль — о надлежащем расположении отхожих мест. Санитарные устройства были главным интересом его жизни. В тысяча пятьсот семьдесят третьем году он даже опубликовал по этому вопросу небольшую книгу — ныне это огромная библиографическая редкость — под названием «Некоторые интимные советы одного из членов Ее Величества Тайного совета», и в этой книге проблема рассматривается с величайшей эрудицией и тонкостью. Его ведущий принцип в санитарном устройстве дома — отделить отхожие места возможно дальше от сточных приспособлений. Отсюда неизбежно вытекало, что их следовало поместить в самой верхней части дома и соединить вертикальными шахтами с подземными ямами и стоками. Не следует думать, что сэром Фердинандо руководили только материальные и чисто гигиенические соображения, ибо, когда он отводил для отхожих мест столь высокое место, то имел в виду и определенные высокие духовные мотивы. Поскольку, утверждает он в третьей главе своих «Интимных советов», наши естественные нужды низменны, как у животных, мы, удовлетворяя их, склонны забывать о том, что являемся благороднейшими творениями во Вселенной. Для нейтрализации этого неблагоприятного воздействия он предложил, чтобы отхожее место в каждом доме было помещено возможно ближе к небу, чтобы в нем обязательно были окна, из которых открывалась бы широкая и величественная панорама, и чтобы стены в этих покоях были уставлены книжными полками, содержащими все самые зрелые плоды человеческой мудрости — такие, как «Книга притчей Соломоновых», «Об утешении, доставляемом философией» Боэция, «Афоризмы» Эпиктета и Марка Аврелия, «Руководство христианскому воину» Эразма Роттердамского, и все другие труды, античные или современные, которые отвечают благородству человеческой души. В Кроме он получил возможность претворить свои теоретические принципы в жизнь. Он расположил отхожие места на самом верху каждой из трех возвышающихся над зданием башен. Оттуда до самого низу — а это, надо сказать, более семидесяти футов — и далее через подвалы шли шахты прямо к системе трубопроводов с проточной водой, проложенных под землей на уровне фундамента верхней террасы. Стоки выводились в реку в нескольких сотнях ярдов ниже рыбного пруда. Общая глубина шахт от верха башни до подземных трубопроводов составляла сто два фута. Восемнадцатый век с его страстью к модернизации смёл этот памятник санитарно-технического искусства. Если бы не предание о нем и не подробное описание, оставленное сэром Фердинандо, мы вообще никогда бы не узнали о

существовании этих великолепных отхожих мест. Мы могли бы даже предположить, что сэр Фердинандо построил дом по столь оригинальному и прекрасному проекту из чисто эстетических соображений...

Раздумья о славных деяниях прошлого всегда пробуждали в Генри Уимбуше заметное воодушевление. Пока он продолжал свою речь, лицо его под серым котелком горело оживлением. Мысль об исчезнувших отхожих местах глубоко волновала его. Он замолчал. Оживление постепенно сошло с его лица, и оно снова стало похоже на солидный головной убор, закрывавший его от солнца. Наступило долгое молчание. Казалось, те же тихие меланхолические мысли овладели каждым. О вечном и о преходящем в жизни: сэр Фердинандо и его отхожие места исчезли, а Кром все стоит. Как ярко светит солнце, и как неминуема смерть! Пути Господни неисповедимы, еще более неисповедимы пути человеческие...

— Сердце радуется, — воскликнул наконец мистер Скоуган, — когда слышишь об этих эксцентричных английских аристократах. Создать теорию об отхожих местах и построить огромный и прекрасный дом, чтобы осуществить ее на практике, — это замечательно, великолепно. В мыслях моих они все проходят передо мной — чудаковатые милорды, колесящие по всей Европе в тяжеловесных каретах со своими необыкновенными миссиями. Один отправляется в Венецию, чтобы купить гортань Бианки, — он не получит ее, конечно, пока певица не умрет, но это не важно; он готов ждать. У него коллекция — заспиртованные в банках голосовые связки известных оперных певцов. А инструменты знаменитых виртуозов — он поедет и за ними. Он попытается подкупить Паганини, чтобы убедить его расстаться со своим маленьким Гварнери, конечно, с небольшой надеждой на успех. Паганини не продает свою скрипку. Но, может быть, он пожертвует одной из своих гитар?.. Иные отправляются в крестовые походы — один, чтобы умереть жалкой смертью среди греческих дикарей, другой — в своем белом цилиндре — чтобы повести итальянцев на битву с их угнетателями. У третьих и вообще нет цели: они просто выставляют свои странности напоказ Европе. Дома они отдаются праздности, проявляя в этом большую изобретательность. Бекфорд строит башни, Портленд копает ямы, миллионер Кавендиш живет в конюшне, ест только баранину и развлекается — о, единственно ради собственного удовольствия! — тем, что предвосхищает на полвека открытия в области электричества. Великолепные чудачки! Они делают жизнь каждой эпохи веселее и разнообразнее. Когда-нибудь, дорогой Дэнис, — сказал мистер Скоуган, обращая к нему взгляд своих блестящих, как бусинки, глаз, — когда-нибудь вы должны стать их биографом. Жизнь эксцентричных людей — какая

тема! Я и сам бы хотел заняться ею.

Мистер Скоуган замолчал, снова посмотрел на возвышающийся над ними дом и несколько раз пробормотал слово «эксцентричность».

— Эксцентричность... Это оправдание всех аристократий. Она оправдывает праздные классы, наследуемое богатство, привилегии, ренты и все подобные несправедливости. Хотите создать в этом мире что-нибудь достойное, значит, необходимо иметь класс людей обеспеченных, не зависящих от общественного мнения, свободных от бедности, праздных, не принужденных тратить время на тупую будничную работу, которая именуется честным выполнением своего долга. Нужен класс людей, которые могут думать и — в определенных пределах — делать то, что им нравится. Нужен класс, представители которого могут позволить себе быть чудаками, если имеют склонность к чудачеству, и которые к чудачествам в целом относятся с терпимостью и пониманием. Это очень важно, если хотите понять сущность аристократии. Она не только эксцентрична сама по себе — часто в грандиозных масштабах, но относится терпимо и даже поощряет эксцентричность в других. Чудачества художника и новомодного философа не внушают ей того страха, ненависти и отвращения, которые инстинктивно испытывают неаристократы. Это своего рода резервации краснокожих индейцев в сердце огромной орды белых, банально заурядных и бездуховных, к тому же выросших в колониях. Внутри своих резерваций туземцы развлекаются — часто, надо признать, несколько грубо, несколько эксцентрично. И когда вне этих пределов рождаются люди, близкие по духу, им есть где укрыться от ненависти, которую белая посредственность *en bons bourgeois*^[10] обрушивает на все, что самобытно и выходит за рамки ординарного. После того как произойдет социальная революция, резерваций не будет. Краснокожие растворятся в огромном море белых. И что же? Позволят ли вам, мой милый Дэнис, писать виланеллы? Или вам, мой бедный Генри, жить в этом доме прекрасных отхожих мест и продолжать мирно копать в шахтах бесполезного знания? А вам, Анна...

— А вам, — перебила его Анна, — вам будет позволено продолжать свои речи?

— Могу вас уверить — нет, — ответил мистер Скоуган. — Мне придется заняться каким-нибудь честным трудом.

Глава двенадцатая

Блайт, Майлдьё и Смат... Мэри была озадачена. И расстроена. Может быть, она ослышалась? Может быть, на самом деле он сказал Сквайр, Биньон и Шэнкс?.. Или Чайлд, Бланден и Ирп? Или даже Эберкромби, Дринкуотер и Рабиндранат Тагор? Может быть. Но ведь раньше слух никогда не подводил ее.

Блайт, Майлдьё и Смат. Эти невероятные слова она слышала отчетливо, и они не изгладились из ее памяти. Блайт, Майлдьё... Против своей воли она была вынуждена сделать вывод: Дэнис действительно произнес их. Он намеренно отклонил ее попытку начать серьезный разговор. Это ужасно! Мужчина, который не хочет разговаривать с женщиной о серьезных вещах просто потому, что она женщина, — нет, это немыслимо! Или Эгерия, или ничего. Возможно, Гомбо лучше. Конечно, его южное происхождение внушает некоторое беспокойство. Но он по крайней мере работает серьезно, а она говорила бы с ним именно о его работе. А Дэнис? В конце концов, что такое Дэнис? Дилетант, любитель...

Под свою мастерскую Гомбо занял небольшой пустовавший амбар посреди зеленого дворика за фермой. Это было прямоугольное кирпичное сооружение под островерхой крышей, с высоко расположенными окнами, смотревшими на все стороны. К двери вели четыре ступеньки: амбар стоял на четырех массивных каменных опорах, чтобы в него не могли проникнуть крысы. Внутри ощущался слабый запах пыли и паутины, и в узком луче солнечного света, косо падавшем в любое время дня из того или иного окошка, танцевали мириады серебристых пылинок. В этом амбаре Гомбо с какой-то сосредоточенной яростью работал по шесть-семь часов в день. Он создавал нечто новое, нечто потрясающее — если только ему, конечно, удастся воплотить свой замысел. Последние восемь лет, из которых почти половина была потрачена на добывание военной победы, Гомбо усердно пробивал себе дорогу в кубизме. Теперь он пробил ее и оказался по другую сторону. Сначала он писал формализованную натуру. Потом постепенно оставил это и погрузился в мир чистой формы, пока в конце концов не перешел исключительно к воплощению своих мыслей в абстрактные геометрические фигуры. Это занятие оказалось трудным, но увлекательным. И совершенно внезапно в нем поднялась неудовлетворенность. Он почувствовал себя скованным, запертым в

невыносимо тесном пространстве. Он ощутил жгучий стыд, осознав, как однообразны, примитивны и неинтересны создаваемые им формы, тогда как творения природы, необыкновенно тонкие и совершенные, были бесконечны в своем разнообразии. Гомбо покончил с кубизмом. Он прошел через него и оказался по другую сторону. Однако школа кубизма удерживала его от крайностей слепого преклонения перед природой. Он брал у нее богатые, тонкие, совершенные формы, но всегда стремился создать на их основе нечто волнующе простое и цельное по своей идее, соединить великий реализм и великую простоту. Ему не давали покоя необыкновенные шедевры Караваджо: живые, выразительные формы возникали из темноты, соединялись в композиции, простые, ясные и четкие, как математическая идея. Он вспоминал «Апостола Матфея», «Распятого апостола Петра», «Лютнистов», «Магдалину». Этому удивительному простолюдину был ведом какой-то секрет, какой-то секрет. И Гомбо стремился сейчас овладеть этим секретом, лихорадочно гнался за ним. Да, он создаст нечто потрясающее, если только ему удастся раскрыть, тайну.

Долгое время идея новой картины шевелилась в его сознании и постепенно заполняла его, как поднимающееся тесто. Он подготовил целую папку этюдов, сделал рисунок на картоне. И вот теперь идея воплощалась на холсте. Человек, упавший с коня. Огромное животное, белая ломовая лошадь заполняла собой все верхнее пространство картины. Ее наклоненная до земли голова оставалась в тени; огромное костлявое туловище приковывало к себе взгляд — туловище и ноги, расположенные по обе стороны полотна, словно колонны какой-то арки. На земле, под ногами этой громадины, распростерлась изображенная в перспективе фигура человека, голова на переднем плане, руки раскинуты в стороны. Откуда-то справа от зрителя безжалостно лился белый свет. Человек и животное были ярко освещены, но со всех сторон их окружала ночь. Они были одни в темноте, вся Вселенная сосредоточилась в них самих. Лошадиный корпус заполнил собой верх полотна; ноги, гигантские копыта, застывшие в тяжелой поступи, ограничивали его справа и слева. А внизу лежал человек: запрокинутое лицо на переднем плане, в центре; руки широко раскинуты. Под аркой лошадиного брюха, между ногами, глаз погружался в густую тьму. Снизу пространство закрывалось распростертой фигурой человека. Пучина тьмы в центре, окруженная ярко освещенными формами.

Сейчас картина была уже более чем наполовину закончена. Все утро Гомбо работал над фигурой человека и теперь решил отдохнуть. Столько,

сколько нужно, чтобы выкурить папиросу. Качнувшись на задних ножках стула и упершись спинкой в стену, он внимательно смотрел на холст. Он чувствовал себя удовлетворенным и в то же время несколько опустошенным. Сама по себе вещь получилась неплохой, он понимал это. Но то, к чему он стремился, что должно было потрясти, если бы ему удалось это найти, — получилось ли оно у него? И получится ли когда-нибудь?

В дверь кто-то трижды тихо постучал — тук, тук, тук. Гомбо удивленно оглянулся. Никто никогда не беспокоил его во время работы, это было одно из неписанных правил.

— Войдите! — сказал он.

Приоткрытая дверь распахнулась шире, в ней показалась фигура Мэри — от талии и выше. Она осмелилась подняться лишь до половины лестницы. Если он не захочет ее впустить, отступление будет легче и с большим достоинством, нежели в том случае, если бы она поднялась до конца.

— Можно к вам? — спросила она.

— Конечно.

В одно мгновение она преодолела оставшиеся две ступеньки и оказалась внутри.

— Вам пришло письмо со второй почтой, — сказала она. — Я подумала, что в нем может быть что-то важное, и решила принести его вам.

Она подала ему письмо, и ее глаза, детское лицо светились простодушной искренностью. Никогда еще никто не пользовался столь неубедительным предлогом.

Гомбо взглянул на конверт и не раскрывая, положил его в карман.

— К счастью, — сказал он. — ничего важного в нем нет. Но все равно спасибо.

Наступило молчание. Мэри почувствовала себя несколько неловко.

— Можно взглянуть на то, что вы пишете? — отважилась она наконец спросить.

Гомбо выкурил лишь половину папиросы. В любом случае он не начнет работать, пока не докурит ее. Что ж, можно пока дать ей эти пять минут, которые отделяют его от момента, когда губы начнут ощущать горечь табака.

— Лучше всего смотреть отсюда, — сказал он.

Некоторое время Мэри стояла перед картиной молча, не зная, что сказать. Она была в замешательстве и растерянности. Мэри ожидала увидеть шедевр кубизма, а перед ней были лошадь и человек, и не только

изображенные так, что их можно было узнать, но и прорисованные с вызывающей тщательностью. Trompel'oeil^[11] — другого слова не подобрать, чтобы охарактеризовать это данное в перспективе изображение человеческой фигуры, лежащей внизу под уходящими вверх ногами лошади. Что ей подумать об этом? И что сказать? Она вдруг утратила способность разбираться в живописи. Можно, конечно, восхищаться реалистичностью изображения у старых мастеров. Но в современной живописи?.. В восемнадцать лет она, пожалуй, еще могла. Но сейчас, после пяти лет полировки среди лучших знатоков, ее инстинктивной реакцией на реалистичность изображения в современном произведении было презрение, пренебрежительный смех. В чем замысел Гомбо? Она чувствовала себя так уверенно, когда восхищалась его прежними работами. Но теперь — она просто не знала, что подумать. Это было очень, очень трудно.

— Здесь довольно много светотени, не так ли? — решила наконец она, мысленно поздравив себя с тем, что нашла критическую формулу, столь обтекаемую и в то же время столь глубокую.

— Да, немало, — согласился Гомбо.

Мэри была довольна: он принял ее критику; это был серьезный разговор. Она склонила голову набок и прищурилась.

— Мне кажется, это ужасно мило, — сказала она. — Но конечно, на мой вкус немного... немного...

Она бросила взгляд на Гомбо, который ничего не сказал в ответ, а продолжал курить, задумчиво глядя на свою картину. Мэри продолжала, прерывисто дыша:

— Когда я была нынешней весной в Париже, то много видела Чуплицкого. Конечно, его работы сейчас страшно абстрактны — страшно абстрактны и страшно интеллектуальны. Он просто бросает на свои холсты несколько прямоугольников — совершенно плоских, понимаете, и в локальном цвете. Но композиция у него прекрасная. Его работы с каждым днем становятся все более и более абстрактными. Когда я там была, он уже полностью отказался от третьего измерения и подумывал о том, чтобы отказаться от второго. Скоро, говорит он, останутся лишь чистые холсты. Это логический конец. Полная абстракция! Живопись кончена. Чуплицкий заканчивает ее. Достигнув чистой абстракции, он хочет взяться за архитектуру. Он говорит, что она более интеллектуальна, чем живопись. Вы согласны с этим? — спросила она, в последний раз схватив ртом воздух.

Гомбо бросил окурок и наступил на него.

— Чуплицкий покончил с живописью, — сказал он. — А я с моей

папиросой. Но я продолжаю писать свою картину.

И, подойдя к ней, он обнял ее за плечи и повернул спиной к картине.

Мэри подняла к нему лицо. Волосы ее качнулись назад, прозвенев беззвучным золотым колоколом. Глаза были безмятежны. Она улыбнулась. Итак, момент наступил. Его рука обнимала ее. Он шел медленно, почти незаметно, и она шла вместе с ним. Это было объятие странников.

— Вы согласны с ним? — повторила она. Момент, может быть, и наступил, но она не перестанет быть интеллектуальной, серьезной.

— Не знаю. Мне надо подумать об этом. Его рука упала с ее плеча.

— Осторожнее спускайтесь по лестнице, — предупредил он. Мэри ошеломленно посмотрела вокруг. Перед ними была открытая дверь. На мгновение Мэри задержалась в замешательстве. Рука, которая только что лежала на ее плече, теперь три или четыре раза легонько и доброжелательно шлепнула ее по спине. Бессознательно повинуясь этому подталкиванию, Мэри шагнула вперед.

— Осторожнее спускайтесь по лестнице, — повторил Гомбо. Она спускалась осторожно. Дверь за ней закрылась, и Мэри осталась одна посреди небольшого зеленого двора. Возвращалась она медленно, в глубокой задумчивости.

Глава тринадцатая

Генри Уимбуш принес с собой вниз к ужину пачку отпечатанных листов, сшитых и уложенных в картонную папку.

— Сегодня, — сказал он с некоторой торжественностью, — я закончил печатание моей «Истории Крома». Сегодня вечером я помог набрать последнюю страницу.

— Знаменитой «Истории»? — вскричала Анна.

Этот Magnum Opus^[12] писался и печатался столько, сколько она себя помнила. В течение всего ее детства «История» дяди Генри была чем-то неясным и мифическим, о чем часто слышали, но чего никогда не видели.

— Почти тридцать лет у меня ушло на нее, — сказал мистер Уимбуш. — Двадцать пять на то, чтобы написать, и почти четыре года, чтобы напечатать. И вот она закончена — полная хроника, от рождения сэра Фердинандо Лапита до смерти моего отца, Уильяма Уимбуша — более трех с половиной столетий. История Крома, написанная в Кrome и отпечатанная в Кrome на моем собственном печатном станке.

— Теперь, когда она закончена, можно нам будет почитать ее? — спросил Дэнис.

Мистер Уимбуш кивнул.

— Конечно, — сказал он. — И надеюсь, вы найдете ее небезынтересной, — скромно добавил он. — Наш архив особенно богат старинными документами, и мне удалось совершенно по-новому осветить вопрос о том, как вошла в обиход трехзубая вилка.

— А люди? — спросил Гомбо. — Сэр Фердинандо и все остальные — они интересные? Были в вашем роду какие-нибудь преступления или трагедии?

— Дайте-ка подумать. — Генри Уимбуш глубокомысленно потер подбородок. — Могу лишь сказать о двух самоубийствах, одной насильственной смерти, четырех или, возможно, пяти разбитых сердцах и нескольких пятнах на семейной репутации, оставленных мезальянсами, соращениями, внебрачными детьми и тому подобным. Нет, в целом это мирная и не насыщенная событиями хроника.

— Уимбуши и Лапиты всегда были люди почтенные и смирные, — сказала Присцилла с ноткой презрения в голосе. — Если бы мне пришлось писать историю моей семьи! Пожалуй, от начала и до конца это было бы одно сплошное пятно.

Она весело рассмеялась и налила себе еще один бокал вина.

— Если бы мне пришлось писать такую историю, — заметил мистер Скоуган, — то она бы вовсе не появилась на свет. Известны лишь два поколения Скоуганов, а дальше мы исчезаем в тумане времени.

— После ужина, — сказал Генри Уимбуш, несколько задетый уничижительным замечанием жены, — я прочитаю вам отрывок из моей истории, который заставит вас согласиться, что даже у Лапитов — на свой благопристойный лад — были свои трагедии и странные приключения.

— Рада слышать это, — сказала Присцилла.

— Рады слышать что? — спросила Дженни, появляясь внезапно из своего замкнутого мира, как кукушка из часов. Она получила соответствующее разъяснение, улыбнулась, кивнула, прокуковала в последний раз свое «ну да, ну да» и снова спряталась, хлопнув за собой дверцей.

После ужина все перешли в гостиную.

— Итак, — сказал Генри Уимбуш, пододвигая кресло к лампе. Он надел пенсне в черепаховой оправе и начал осторожно листать страницы своей переплетенной и несброшюрованной книги. Наконец он нашел нужное место.

— Можно начинать? — спросил он, подняв глаза.

— Начинай, — сказала Присцилла, зевая.

Подождав, пока все приготовятся внимательно слушать, мистер Уимбуш откашлялся и начал:

— «Младенец, которому суждено было стать четвертым баронетом Лапитом, родился в тысяча семьсот сороковом году. Он был очень маленьким ребенком, весившим при рождении не более трех фунтов, но с первых дней крепким и здоровым. В честь деда по материнской линии, сэра Геркулеса Оккэма, епископа Оккэмского, ему при крещении дали имя Геркулес. Его мать, подобно многим матерям, вела дневник, в который записывала, как от месяца к месяцу шло его развитие. В десять месяцев он начал ходить и, не достигнув еще двухлетнего возраста, говорил изрядное количество слов. В три года он весил всего двадцать четыре фунта, а в шесть лет, хотя мог прекрасно читать и писать и проявил замечательные музыкальные способности, был ростом и весом не больше двухлетнего ребенка. Между тем мать его родила еще двух детей — мальчика и девочку; один умер в младенчестве от крупа, а другую унесла чума, когда ей не было и пяти. Геркулес остался единственным ребенком в семье.

В двенадцать лет он все еще был лишь трех футов и двух дюймов ростом. Голова, красивая, породистая, казалась слишком большой для его

тела, но в остальном он был весьма соразмерно сложен и обладал незаурядной для своего роста силой и ловкостью. Родители, в надежде на то, что он начнет расти, обращались ко всем самым знаменитым врачам своего времени и скрупулезно, но безуспешно следовали их разнообразным предписаниям. Один рекомендовал весьма обильную мясную пищу; другой физические упражнения; третий сконструировал небольшую раму, наподобие тех, что использовала святая инквизиция, и юный Геркулес, испытывая мучительную боль, подвергался растяжению на ней по полчаса утром и вечером каждый день. В течение последующих трех лет он прибавил, быть может, два дюйма. После этого его рост совершенно прекратился, и он до конца своей жизни оставался карликом трех футов и четырех дюймов. Отец, который связывал с сыном самые далеко идущие надежды и готовил для него в своем воображении военную карьеру, подобную карьере Мальборо, был удручен. «Я произвел на свет ублюдка», — говаривал он, испытывая к своему сыну столь сильную неприязнь, что мальчик почти не отваживался показываться ему на глаза. Разочарование изменило его характер: прежде безмятежный, он сделался угрюмым и злобным. Он избегал друзей (ибо, как он говорил, отцу *lusus naturae*^[13] стыдно появляться среди нормальных, здоровых людей) и предался одинокому пьянству, которое очень скоро довело его до могилы. За год до совершеннолетия Геркулеса его отец скончался от апоплексии. Мать, чья любовь к сыну только крепла по мере того, как росла к нему неприязнь отца, ненадолго пережила мужа. Немногим более чем через год после его кончины она съела две дюжины устриц и умерла от приступа брюшного тифа.

Таким образом, в возрасте двадцати одного года Геркулес оказался совершенно один на белом свете и стал обладателем значительного состояния, включавшего в себя поместье Кром. Привлекательность и ум, которые были свойственны ему в детстве, сохранились и в более зрелом возрасте, и, если бы не его карликовый рост, он мог бы быть причислен к самым красивым и образованным молодым людям своего времени. Он был начитан, знал греческих и римских писателей, а также всех современных авторов, которые имели хоть какие-нибудь достоинства и писали по-английски, по-французски или по-итальянски. У него был хороший музыкальный слух, и он превосходно играл на скрипке, которую, правда, держал как виолончель, между коленями. Его очень привлекали клавесин и клавикорды, но играть на них своими маленькими руками он так и не смог. У него была маленькая флейта из слоновой кости, сделанная специально для него: когда ему становилось грустно, он играл какую-нибудь простую

деревенскую песню или джигу, утверждая, что эта бесхитростная музыка более способна очистить и укрепить дух, чем самые искусные творения композиторов. С раннего возраста он писал стихи, однако хотя и признавал за собой несомненный талант, не опубликовал ничего из своих сочинений. «Мое телосложение, — говорил он, — накладывает печать на мои стихи. Если их будут читать, то не потому, что я поэт, а потому, что я карлик». Несколько рукописей сэра Геркулеса сохранились. Даже одного примера будет достаточно, чтобы показать его достоинства как поэта.

В исчезнувший, забытый век, когда
Бродили Авраамовы стада
По тучным пастбищам, и пел Омир,
И молод был новорожденный мир,
Железо усмирял кузнец Тувал,
И жил в шатрах кочевник Иавал,
Играл на гусях Иувал, — в те дни
Титанов безобразные ступни
Осмеливались землю попирать,
И Бог, скликая ангельскую рать,
Наслал Потоп, дабы не видеть зла.
Но Теллус новое произвела
Исчадье, — то был Воин и Герой,
Он мускулистой высился горой:
Немилосерд, невыдержан и груб,
Невиданно, не по размерам глуп.
Но шли века, и разумом крепчал
Громадный Воин, дух его смягчал
Порывы плоти, — ростом стал он мал
И дедовской секиры не сжимал
Изящной, благородною рукой.
В безмолвье кабинета, в мастерской
Пером и кистью тонко овладел
И, предпочтя возвышенный удел,
Картинами и славой мудрых книг
Себе бессмертный памятник воздвиг,
Не ростом, а свершеньями велик!
В Искусстве люди силу обрели.
Вот вкратце вся история земли:

Титану унаследовал Герой,
Был страшен первый и смешон второй.
Героя мудрый человек сменил,
Громоздкой плотью он не потеснил
Рассудка, как в безудержные дни,
Когда Титаны грубые одни
Владели миром, и чрезмерный вес
Привел к тому, что дух почти исчез:
Он спал под грудой мяса и костей,
Он разуму не подавал вестей.
Теперь под оболочкой небольшой,
Гордясь освобожденною душой,
Пылает гений, яркий, как Фарос.
Но неужели Человек дорос
До совершенства? Разве мы ушли
От расы великанов и вдали
Достойного не видим образца?
В развитии достигли мы конца?
В сомненьях признаюсь я со стыдом.
Нет, не конец! Спасителем ведом,
К земле обетованной держит путь
Разумный гном, чей ум когда-нибудь
Всевластным станет, — близок золотой
Счастливый век, когда над высотой
Сквозь облака засветится заря,
И, о недавнем прошлом говоря,
Потомки воскресят как наяву
Истории печальную главу,
И, жалость не умея побороть,
Увидят в нас разросшуюся плоть
И те же недозрелые умы,
Какие в великанах видим мы,
В героях «титанических» веков.
Душа освободится от оков,
И тело ловко, как лесной олень,
В лугах носиться будет целый день,
Не будет к малым этот мир жесток,
Природы совершеннейший итог —
Уменьшенный в размерах Человек —

Свое величье утвердит навек.
Увы, земля пока терпеть должна
Бессмысленных гигантов племена,
Хотя и меньше ростом, чем в былом,
Они прославились не меньшим злом.
Вселенской власти захватив бразды,
Своей неполноценностью горды,
Чужих страданий жнут они плоды,
И каждый глупый глиняный колосс
Бахвалится, что до звезды дорос.
Он малое презрительно клянет,
Оправдывая великанский гнет.
Горька судьба того, кто поспешил
Родиться, кто заранее решил
Счастливой расы возвестить приход,
Кто к свету человечество ведет
И взоры обращает к небесам,
Хотя в геенне пребывает сам^[14].

Едва вступив во владение поместьем, сэр Геркулес начал переустройство всей жизни в нем. Ибо, хотя он отнюдь не видел ничего постыдного в своем физическом уродстве, — пожалуй, насколько мы можем судить по приведенным нами стихам, он считал себя во многих отношениях выше обычных людей, — он все же испытывал определенное неудобство от присутствия в доме мужчин и женщин нормального роста. Понимая также, что ему придется оставить все честолюбивые замыслы, связанные с большим миром, он решил совершенно удалиться от него и создать в Кроме, так сказать, свой собственный мир, в котором все было бы соразмерно его росту. В соответствии с этим замыслом он постепенно рассчитывал всех старых слуг по мере того, как ему удавалось найти на их место карликов. За несколько лет он окружил себя многочисленной дворней, среди которой ни один человек не был ростом выше четырех футов, а самый маленький едва достигал двух футов шести дюймов. Принадлежавших его отцу собак — таких, как сеттеры, мастиффы, борзые, а также свору гончих, он продал или раздал, поскольку они казались ему слишком большими и шумливыми, заменив их мопсами, кинг-чарльз-спаниелями и собаками других мелких пород. Распроданы были и лошади

из отцовской конюшни. Для своих прогулок верхом и в коляске он приобрел шесть черных шетландских пони и еще четырех в яблоках отборной гемпширской породы.

После того как он устроил таким образом жизнь в доме к своему полному удовлетворению, ему осталось лишь найти подходящую спутницу жизни, с которой он мог бы разделить этот рай. У сэра Геркулеса было чувствительное сердце, и в возрасте от шестнадцати до двадцати лет он уже не раз ощутил, что такое любовь. Но тут его уродство принесло ему особенно тяжкие страдания, ибо, когда он осмелился однажды открыть сердце своей избраннице, она в ответ рассмеялась. Он, однако, продолжал настаивать, и тогда она приподняла его, встряхнула, как докучливого ребенка, и прогнала, велев больше не досаждать ей. Эта история скоро стала широко известна; молодая леди сама рассказывала ее как особо забавный анекдот. Последовавшие за этим издевательства и насмешки стали источником горьких мук для Геркулеса. Из стихов, написанных в то время, можно сделать вывод, что он помышлял уйти из жизни. С течением времени, однако, он пережил это унижение, но никогда больше, хотя влюблялся часто и весьма страстно, не решался даже заговорить с теми, к кому испытывал нежные чувства.

Вступив во владение поместьем и оказавшись в состоянии создать по своему желанию собственный мир, Геркулес понял, что если он хочет иметь жену, — а он очень хотел этого, будучи натурой страстной и влюбчивой, — то должен выбрать ее так, как выбирал своих слуг: из рода карликов. Однако найти достойную пару оказалось, как он обнаружил, делом довольно трудным, так как Геркулес не хотел взять в жены такую, которая не отличалась бы красотой и благородством происхождения. Дочь лорда Бемборо он отверг на том основании, что она была не только карликового роста, но и горбунья, а другую молодую леди, сироту из очень благородной семьи в Гемпшире — потому, что лицо ее, как нередко у карликов, было сморщенное и отталкивающее. Наконец, почти отчаявшись добиться успеха, он услышал из надежного источника о том, что у графа Тицимало, венецианского дворянина, есть дочь, девушка редкостной красоты и великих достоинств, и ростом всего лишь трех футов. Отправившись тот же час в Венецию, он немедленно по прибытии поехал засвидетельствовать графу свое почтение и обнаружил, что тот ютится с женой и пятью детьми в убогом жилище в одном из беднейших кварталов города. Граф находился тогда в столь стесненных обстоятельствах, что (если верить слухам) вел переговоры со странствующей труппой клоунов и акробатов, которые имели несчастье потерять выступавшего с ними

карлика, о продаже им своей миниатюрной дочери Филомены. Сэр Геркулес прибыл как раз вовремя, чтобы спасти ее от этой ужасной участи, ибо он был так пленен благородством и красотой Филомены, что к концу третьего дня ухаживания сделал ей формальное предложение, которое она приняла с не меньшей радостью, чем ее отец, получавший в лице английского зятя обильный и неисчерпаемый источник доходов. После скромной свадьбы, на которой одним из свидетелей был английский посол, сэр Геркулес со своей молодой женой вернулся морем в Англию, где они и повели безоблачно счастливую жизнь.

Кром и его обитатели доставили большую радость Филомене, которая впервые почувствовала себя свободной женщиной, живущей среди себе подобных в дружественном мире. Во многом она разделяла вкусы своего мужа, особенно в музыке. У нее был прекрасный голос, удивительно сильный для столь маленького тела: она без труда брала верхнее «ля». Под аккомпанемент прекрасной кремонской скрипки, на которой ее муж играл, как мы уже упоминали, держа ее наподобие виолончели, она пела самые прекрасные и нежнейшие арии из опер и кантат своей родной страны. А когда они сели вместе за клавикорды, то оказалось, что в четыре руки могут сыграть все, написанное для двух рук обычной величины, — обстоятельство, доставлявшее сэру Геркулесу безграничную радость.

Когда они не занимались музыкой или чтением — а они много читали как по-английски, так и по-итальянски, — то проводили время в здоровых упражнениях на воздухе, иногда катаясь по озеру в маленькой лодке, но чаще совершая прогулки верхом или в коляске, что было совершенно новым для Филомены и потому доставляло ей особое удовольствие. Когда Филомена вполне овладела искусством верховой езды, они с мужем стали часто охотиться в парке, который в то время был значительно обширнее, чем сейчас. Они охотились не на лис и не на зайцев, а на кроликов, используя свору примерно в тридцать черных и желтовато-коричневых мопсов, которые если их не перекармливать, могут загнать кролика не хуже собак любых других мелких пород. Четыре карликового роста груга, одетых в ярко-красные ливреи, верхом на белых эксмурских пони, пускали свору по следу, а хозяин с хозяйкой в зеленых костюмах скакали за ними либо на черных шетландских, либо на пегих гемпширских пони. Картина охоты — собаки, лошади, гругы и хозяева — была запечатлена Уильямом Стаббсом, чьим творчеством сэр Геркулес так восхищался, что пригласил его, хотя он был и обычного телосложения, погостить в своем доме, чтобы он мог написать эту картину. Стаббс выполнил также портрет сэра Геркулеса и его супруги в их зеленой глазурированной коляске, запряженной

четверкой черных шетландцев. На сэре Геркулесе бархатный плащ сливового цвета и белые бриджи; Филомена одета в муслин с цветочным узором, на голове у нее очень большая шляпа с розовыми перьями. Две эти фигуры в их нарядном экипаже резко выделяются на фоне темных деревьев. Но в левой части картины деревья уходят вдаль и исчезают совсем, так что четыре черных пони видны на фоне тусклого и необычно мрачного неба, на котором солнце освещает грозовые золотисто-коричневые тучи.

Таким образом безмятежно прошли четыре года. В конце этого периода Филомена почувствовала, что ждет ребенка. Сэр Геркулес был несказанно рад. «Если Бог будет милостив, — писал он в своем дневнике, — имя Лапитов не исчезнет, а наша особенная, утонченная человеческая порода будет продолжаться от поколения к поколению, пока в надлежащее время человечество не признает превосходство тех существ, над которыми ныне насмехается». Эта же мысль содержалась в поэме, написанной по случаю рождения его женой сына. Ребенку дали имя Фердинандо — в память того, кто построил дом.

По мере того как шли месяц за месяцем, сэром Геркулесом и его женой стало овладевать некоторое беспокойство. Ибо их ребенок рос с необычайной быстротой. В возрасте одного года он весил столько, сколько Геркулес, когда ему было три. «Фердинандо растет все быстрее, — писала Филомена в своем дневнике. — Это кажется противоестественным». В полтора года ребенок был почти такого же роста, как их самый маленький жокей, которому исполнилось тридцать шесть лет. Не суждено ли Фердинандо стать человеком обычного, великанского телосложения? Эту мысль ни один из его родителей еще не решался произнести вслух, но, оставшись наедине со своими дневниками, они обдумывали ее в страхе и унынии.

Когда Фердинандо исполнилось три года, он был уже выше своей матери и лишь на два дюйма ниже отца. «Сегодня впервые, — писал сэр Геркулес, — мы обсудили положение. Нельзя больше скрывать ужасную правду: Фердинандо не такой, как мы. В этот день рождения — третий в его жизни, — когда мы должны были бы радоваться здоровью, силе, красоте нашего ребенка, мы плакали вместе над нашим разбитым счастьем. Дай нам, Боже, силы снести этот крест».

К восьми годам Фердинандо был таким крупным, пышущим здоровьем мальчиком; что родители, хотя и не желая этого в душе, решили послать его в школу. К началу очередного семестра его выпроводили в Итон. В доме воцарился глубокий мир. На летние каникулы Фердинандо

вернулся, став еще крупнее и сильнее. Однажды он сбил с ног дворецкого, сломав ему руку. «Он груб, высокомерен, не поддается убеждениям, — писал его отец. — Единственное, что могло бы научить его хорошим манерам, это физическое наказание». Фердинандо, который в этом возрасте был уже на семнадцать дюймов выше своего отца, не подвергся физическому наказанию.

Еще года через три Фердинандо вернулся в Кром на летние каникулы в сопровождении огромного мастиффа. Он купил его в Виндзоре у какого-то старика, которому слишком дорого было кормить пса. Это был свирепый, своенравный зверь. Едва переступив порог Крома, он напал на одного из любимых мопсов сэра Геркулеса, схватил его зубами и чуть не затрепал до смерти. Чрезвычайно раздраженный этим происшествием, сэр Геркулес распорядился посадить животное на цепь во дворе конюшни. Фердинандо угрюмо сказал на это, что собака принадлежит ему и он будет держать ее там, где пожелает. Отец, все более выходя из себя, велел ему, под страхом своего величайшего неудовольствия, немедленно удалить собаку из дома, но Фердинандо даже не двинулся с места. В этот момент в комнату входила его мать. Собака бросилась на нее, сбила с ног и в мгновение ока страшно искусала ей руку и плечо. В следующую секунду она неминуемо схватила бы ее за горло, если бы сэр Геркулес не выхватил из ножен шпагу и не поразил зверя в сердце. Повернувшись к сыну, он приказал ему немедленно удалиться из комнаты: он не может находиться рядом с матерью, которую едва не убил. Вид сэра Геркулеса, стоявшего одной ногой на теле огромного пса с обнаженной и еще окровавленной шпагой, внушал такой благоговейный страх, а его голос, движения, выражение лица были столь грозными, что Фердинандо в ужасе выскользнул из комнаты и до конца каникул вел себя на редкость примерно. Раны, полученные его матерью, скоро зажили, но разум так никогда и не оправился от перенесенного страха. С того времени до конца своих дней она постоянно жила во власти воображаемых ужасов.

Два года, которые Фердинандо провел на континенте, путешествуя по Европе, стали для его родителей счастливой передышкой. Но и в это время мысль о будущем преследовала их. Они уже не могли утешать себя развлечениями своих молодых дней. Леди Филомена потеряла голос, а сэр Геркулес стал настолько страдать от ревматизма, что не мог больше играть на скрипке. Он еще, бывало, выезжал на охоту со своими мопсами, но его жена чувствовала, что сама она уже немолода и что после случая с мастиффом нервы ее слишком расстроены для таких занятий. В лучшем случае, чтобы доставить удовольствие мужу, она следовала за охотниками

на некотором расстоянии в маленькой двуколке, запряженной самыми смиренными и старыми из шетландцев.

Пришел, однако, день возвращения Фердинандо. Филомена, полная неясных страхов и предчувствий, уединилась в своей комнате и легла в постель. Сэр Геркулес один встречал сына. В комнату вошел великан в коричневом дорожном костюме.

— Добро пожаловать, сын мой, — сказал сэр Геркулес, и в голосе его звучала легкая дрожь.

— Надеюсь, вы здоровы, сэр.

Фердинандо наклонился, чтобы пожать ему руку, потом снова выпрямился. Макушка отца доставала ему до бедра.

Фердинандо приехал не один. Его сопровождали два приятеля одного с ним возраста, и у каждого из них был свой слуга. Вот уже тридцать лет присутствие столь большого числа людей обычной породы не оскверняло Кром. Сэр Геркулес был напуган и возмущен, однако законы гостеприимства надо было выполнять. Он оказал молодым джентльменам в высшей степени вежливый прием, а их слуг отослал на кухню, распорядившись, чтобы о них хорошо позаботились.

На свет вытащили и очистили от пыли старый семейный обеденный стол (сэр Геркулес и его супруга привыкли обедать за маленьким столом высотой в двадцать дюймов). За ужином пожилому дворецкому Саймону, который мог лишь взглядом дотянуться до середины большого стола, помогали трое слуг, приехавших с Фердинандо и его гостями.

Сэр Геркулес, как хозяин, с присущим ему тактом поддерживал беседу об удовольствиях путешествий по разным странам, о красотах искусства и природы, которые можно увидеть за границей, об опере в Венеции, сиротах, поющих в церквях того же города, и говорил на другие подобные темы. Молодые люди не проявляли особого внимания к его словам: они были заняты тем, что наблюдали за попытками дворецкого сменить тарелки и вновь наполнить бокалы. Не раз они задыхались и давились от смеха. Сэр Геркулес делал вид, что не замечает этого, и сменил тему, заговорив об охоте. Тут один из молодых людей спросил, правда ли, что, как он слышал, сэр Геркулес охотится с мопсами на кроликов. Сэр Геркулес ответил, что это так, и описал даже некоторые подробности такой охоты. Молодой человек захохотал во все горло.

Когда ужин кончился, сэр Геркулес спустился со стула на пол и под предлогом, что ему надо посмотреть, как себя чувствует жена, извинился и пожелал всем спокойной ночи. Вслед ему, когда он поднимался по лестнице, раздался смех.

Филомена не спала. Она лежала в постели, вслушиваясь в звуки громового хохота и непривычно тяжелые шаги на лестницах и в коридорах. Сэр Геркулес пододвинул к ее кровати стул и долго сидел, ничего не говоря, держа в своей руке руку жены и иногда нежно пожимая ее. Часов около десяти их испугал сильный шум. До них донеслись звуки разбиваемого стекла, топот ног, взрывы смеха и крики. Шум не прекращался несколько минут: сэр Геркулес поднялся и, несмотря на мольбы жены, решил пойти посмотреть, что происходит. На лестнице было темно, и сэр Геркулес пробирался вниз осторожно, ощупью, спускаясь по одной ступеньке и останавливаясь на мгновение после каждого шага, прежде чем отважиться на следующий. Шум стал слышаться громче, в отдельных выкриках можно было узнать слова и целые фразы. Из-под двери столовой пробивалась полоска света. Сэр Геркулес прошел через зал на цыпочках, и, когда он уже приближался к двери, за ней снова раздался ужасающий грохот разбиваемого стекла и звон металла. Чем они там занимались? Поднявшись на цыпочки, он сумел заглянуть в комнату сквозь замочную скважину. В центре стола, среди невероятного беспорядка, танцевал джигу старый Саймон, которого напоили настолько, что он с трудом удерживал равновесие. Под ногами у него хрустело битое стекло, а башмаки были мокрыми от разлитого вина. Трое молодых людей сидели вокруг, колотя по столу руками и пустыми бутылками и поощряя дворецкого криками и смехом. Хохотали, прислонившись к стене, и трое слуг. Вдруг Фердинандо бросил в голову плясавшего горсть грецких орехов. Это так ошеломило и удивило маленького человека, что он пошатнулся и упал навзничь, опрокинув графин и несколько бокалов. Его подняли, дали ему выпить бренди, похлопали по спине. Старик засмеялся и икнул.

— Завтра, — сказал Фердинандо, — мы устроим балет, в котором будут участвовать все обитатели дома.

— А папаша Геркулес возьмет дубинку и оденется в львиную шкуру, — добавил один из его приятелей, и все трое захохотали во все горло.

Сэр Геркулес не стал больше смотреть и слушать. Он снова пересек зал и начал подниматься по лестнице, ощущая боль в коленях каждый раз, когда ему приходилось высоко поднимать ногу, чтобы стать еще на одну ступеньку. Это был конец. Больше для него не было места в этом мире — для него и Фердинандо вместе.

Его жена еще бодрствовала. На ее вопрошающий взгляд он ответил:

— Они издеваются над старым Саймоном. Завтра настанет наша очередь.

Некоторое время они молчали. Наконец Филомена сказала:

— Я не хочу видеть завтра.

— Да, так будет лучше, — сказал сэр Геркулес.

Уйдя в свой кабинет, он подробно описал в дневнике все события вечера. Еще не закончив, он позвонил в колокольчик, позвав слугу, и распорядился, чтобы к одиннадцати часам для него были приготовлены горячая вода и ванна. Закрыв дневник, он пошел в комнату жены и, приготовив дозу опиума в двадцать раз больше той, что она привыкла принимать при бессоннице, подал ей питье, говоря:

— Твое снотворное.

Филомена взяла стакан и некоторое время держала его. На глазах ее показались слезы.

— Помнишь ли ты песни, которые мы, бывало, пели, сидя летом на террасе? — И она тихо спела своим ослабевшим и надтреснутым голосом несколько тактов из арии Страделлы «Любовь, любовь, не спи больше». — А ты играл на скрипке. Кажется, это было так недавно и вместе с тем так давно-давно. Addio amore. A rivederti^[15].

Она выпила снотворное и, откинувшись на подушку, закрыла глаза. Сэр Геркулес поцеловал ей руку и тихо вышел, словно боясь разбудить ее. Он вернулся в свой кабинет и, записав в дневнике последние обращенные к нему слова жены, налил в ванну воду, которую принесли по его распоряжению. Вода была слишком горячая, чтобы сразу погрузиться в ванну, и он взял с полки Светония. Ему хотелось прочесть, как умер Сенека. Он открыл книгу наудачу. «Но к карликам, — прочитал сэр Геркулес, — он относился со сдерживаемым отвращением, как к *lusus naturae* и приносящим беду». Он вздрогнул, словно его ударили. Этот самый Август, вспомнил он, выставил однажды в амфитеатре Люция, молодого человека из благородной семьи ростом менее двух футов и весом — семнадцати фунтов, но имевшего зычный голос. Он перевернул несколько страниц. Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон: каждая новая страница этой книги была ужаснее предыдущей. «Наставника своего Сенеку Нерон заставил покончить с собой...» И наконец, Петроний, который в последний раз призвал к себе друзей, прося их говорить ему не о философских утешениях, но о любви и приятных развлечениях, а жизнь в это время вытекала из него через вскрытые вены. Обмакнув еще раз перо в чернильницу, сэр Геркулес написал на последней странице дневника: «Он умер смертью римлянина». Затем, попробовав пальцами ноги воду и обнаружив, что она достаточно остыла, он сбросил халат и, взяв в руку бритву, сел в ванну. Одним сильным взмахом он перерезал артерию на левом запястье, затем откинулся и предался размышлениям. Кровь

медленно текла из его тела, распространяясь по воде зыбкими кольцами и спиралями. Скоро вся ванна окрасилась в розовый цвет, который становился все гуще. Сэр Геркулес почувствовал, что его охватывает неодолимая сонливость. Одно неясное видение сменялось другим, и вскоре он погрузился в сон.

В его маленьком теле крови было немного».

Глава четырнадцатая

После обеда все обычно переходили пить кофе в библиотеку. Окна ее смотрели на восток, и в середине дня здесь бывало прохладнее всего. Это была большая комната, которую в восемнадцатом веке заставили элегантными белыми полками. В середине одной стены дверь, искусно замаскированная рядами поддельных книжных корешков, скрывала глубокий шкаф, где вместе с пачками писем и старых газет покоился в темноте ящик с мумией египтянки, привезенный вторым сэром Фердинандо из его путешествия. С расстояния в десять ярдов эту потайную дверь можно было с первого взгляда принять за продолжение настоящих полок. Перед поддельными книгами стоял мистер Скоуган с чашкой кофе в руке. Прихлебывая, он обращался ко всем с речью.

— Нижняя полка, — говорил он, — занята энциклопедией в четырнадцати томах. Вещь полезная, но скучноватая, как и «Словарь финского языка» Капрималджа. «Биографический словарь» — это уже более обнадёживающе. «Биографии людей, родившихся великими», «Биографии людей, достигших величия», «Биографии людей, ставших великими не по своей воле» и «Биографии людей, которые никогда не стали великими». Далее идут десять томов «Трудов и странствий» Сома, а «Охота на дикого гуся», роман анонимного автора, занимает шесть томов. Но что это такое, что это? — Поднявшись на цыпочки, мистер Скоуган всматривался в название на корешках. — «Повести Нокспотча» в семи томах. «Повести Нокспотча», — повторил он. — Ах, мой дорогой Генри, — сказал он, оборачиваясь, — это лучшее, что у вас есть. Я охотно отдал бы за них всю остальную вашу библиотеку.

Счастливый обладатель множества первых изданий, мистер Уимбуш мог позволить себе снисходительно улыбнуться.

— Возможно ли, — продолжал мистер Скоуган, — что здесь, кроме корешков и названий, ничего нет? — Он открыл дверь и заглянул внутрь, словно надеясь увидеть там собственно книги. — Фу! — сказал он, закрывая дверь. — Пахнет пылью и плесенью. Как символично! Идешь на встречу с великими шедеврами прошлого, ожидая какого-то чудесного озарения, и находишь только тьму, пыль, тошнотворный запах разложения. В конце концов, что такое чтение, как не порок, подобный увлечению вином, разврату и любой другой форме чрезмерного потакания своим слабостям? Читают, чтобы пощекотать и позабавить свою фантазию, чтобы,

самое главное, не думать самому. И все же — «Повести Нокспотча»...

Он умолк и глубокомысленно забарабанил пальцами по корешкам несуществующих, недостижимых книг.

— Но я не согласна с вами насчет чтения, — сказала Мэри. — Насчет серьезного чтения, я имею в виду.

— Совершенно верно, Мэри, совершенно верно, — ответил мистер Скоуган. — Я забыл, что среди нас есть и серьезные люди.

— А мне нравится идея биографий, — сказал Дэнис. — В предложенной вами схеме найдется место для нас всех: это всеобъемлющая схема.

— Да, биографии — это хорошо, это прекрасно, — согласился мистер Скоуган. — Я представляю себе эти книги, написанные в очень изящном стиле регентства — своего рода литературный Брайтонский павильон, — может быть, самым великим доктором Лемприером. Вы знаете его классический словарь? О-о! — Мистер Скоуган поднял и безвольно уронил руку, показывая, что слова здесь бессильны. — Почитайте его биографию Елены. Почитайте, как Юпитер, явившись в обличье лебедя к Леде, смог «воспользоваться положением, в котором оказался». Подумать только, что, может быть, он, Лемприер, — наверное, это был Лемприер — написал эти биографии великих людей! Какой труд, Генри! И мы не можем прочитать эти книги из-за идиотского устройства вашей библиотеки!

— Я предпочитаю «Охоту на дикого гуся», — сказала Анна. — Роман в шести томах. Как успокаивающе!

— Успокаивающе! — повторил мистер Скоуган. — Вы нашли совершенно точное слово. Видите ли, «Охота на дикого гуся» — это обстоятельные, но несколько старомодные картины жизни сельских священников в пятидесятые годы. Образы мелкопоместного дворянства. Крестьяне для чувствительных сцен и комических ситуаций. И, в качестве фона, всегда тщательно обрисованные красоты природы. Все очень хорошо, основательно, но, как бывает пудинг, немного пресно. Меня лично значительно больше занимают «Труды и странствия» Сомы. Эксцентричный мистер Сом, живший в усадьбе на Сом-Хилле. Старина Том Сом, как называли его закадычные друзья. Десять лет он провел в Тибете, организуя производство очищенного масла новейшим европейским способом, и мог удалиться от дел в возрасте тридцати шести лет, располагая порядочным состоянием. Всю остальную жизнь он посвятил путешествиям и размышлениям. И вот результат. — Мистер Скоуган постучал по фальшивым книгам. — А теперь о «Повестях Нокспотча». Какой шедевр и какой великий человек! Нокспотч знал, как писать

художественные произведения. Ах, Дэнис, если бы вы только могли прочитать Нокспотча, вы не стали бы сочинять роман об утомительной эволюции молодого человека, не описывали бы скрупулезно, во всех подробностях жизнь писателей и художников в Челси, Блумсбери и Хэмпстеде. Вы пытались бы создать книгу, которую можно было бы читать. Но — увы! — из-за своеобразного устройства библиотеки нашего хозяина вы никогда не прочитаете Нокспотча.

— Никто не сожалеет об этом больше, чем я, — сказал Дэнис.

— Именно Нокспотч, — продолжал мистер Скоуган, — великий Нокспотч избавил нас от тоскливой тирании реалистического романа. «Моя жизнь, — говорил Нокспотч, — не столь долга, чтобы я мог позволить себе тратить драгоценные часы, описывая быт средних слоев или читая о нем». Еще он сказал: «Я не могу больше видеть, как человеческий разум сковывается социальным окружением. Я предпочитаю изображать его в вакууме, пульсирующим свободно и предприимчиво».

— Гм, — вступил Гомбо. — Он иногда бывал несколько невразумителен, ваш Нокспотч, не так ли?

— Бывал! — ответил мистер Скоуган. — И преднамеренно. В результате он выглядел еще более глубоким мыслителем, чем был в действительности. Но он столь неясен и похож на оракула только в своих афоризмах. В «Повестях» Нокспотч всегда ясен до прозрачности. О, эти «Повести», эти «Повести»! Как рассказать о них? Невероятные персонажи на страницах его книг мелькают, как разодетые цирковые артисты на трапеции перед публикой. Необыкновенные приключения и еще более необыкновенные умозаключения. Острый ум и чувства, освобожденные от всех идиотских условностей цивилизации, движутся в утонченном и сложном танце, пересекаясь, приближаясь друг к другу и отступая, сталкиваясь. Замечательная эрудиция сочетается с замечательной фантазией. Все идеи настоящего и прошлого, касающиеся любых возможных вопросов, возникают в «Повестях», печально улыбаются или гримасничают, окарикатуривая себя, и затем исчезают, чтобы уступить место чему-то новому. Фантастически разнообразен и богат язык его произведений. Бесконечно остроумие. Далее...

— Но не могли бы вы дать нам образчик? — прервал его Дэнис. — Как пример?

— Увы! — ответил мистер Скоуган. — Великая книга Нокспотча — как меч Экскалибур. Она, словно в камень, прочно всажена в эту дверь и ждет, когда явится какой-нибудь гениальный писатель и извлечет ее оттуда. Я же не писатель и не обладаю качествами, необходимыми для того, чтобы

попытаться выполнить эту задачу. Вызволенье Нокспотча из его деревянной темницы я оставляю вам, мой дорогой Дэнис.

— Благодарю, — сказал Дэнис.

Глава пятнадцатая

— Во время славного Брантома, — говорил мистер Скоуган, — каждая знатная девица, впервые появлявшаяся при французском дворе, приглашалась пообедать за столом короля, где ей подавали вино в прекрасной серебряной чаше итальянской работы. Это была необычная чаша, сей кубок для юных девиц. Внутри него были искуснейшим образом выгравированные весьма, э-э, прелестные любовные сцены. С каждым глотком они становились все виднее, и двор с интересом смотрел на девицу всякий раз, когда она погружала нос в чашу, и ждал, покраснеет она или нет при виде того, кто открывал ей каждый глоток вина. Если девица краснела, они смеялись над ее невинностью, если нет — над ее опытностью.

— Вы что же, предлагаете, чтобы этот обычай был возрожден в Букингемском дворце? — спросила Анна.

— Нет, не предлагаю, — ответил мистер Скоуган. — Я просто привожу этот анекдот как пример простоты нравов в шестнадцатом веке. Я мог бы привести и другие примеры и показать, что также просты были нравы и в семнадцатом, и в восемнадцатом, и в пятнадцатом, и в четырнадцатом веках — да, пожалуй, в любом столетии, начиная от времен Хаммурапи. Единственное столетие, нравы которого не отличаются той же простодушной открытостью, — это благословенной памяти девятнадцатый век. Это удивительное исключение. И тем не менее этот век, преднамеренно (иначе не оценишь!) игнорируя историю, считал, что, храня свое ужасное многозначительное молчание, он поступает нормально, естественно и правильно. Искренность предыдущих пятнадцати или двадцати тысячелетий считалась ненормальной и порочной. Любопытный феномен!

— Совершенно с вами согласна!

Задыхаясь от волнения, Мэри пыталась высказать свои мысли.

— Хэвлок Эллис говорит...

Как полицейский, останавливающий поток машин, мистер Скоуган поднял руку.

— Да, да, я знаю. И отсюда — моя следующая мысль: о природе обратной реакции.

— Хэвлок Эллис...

— Обратная реакция, когда она началась, — а мы можем с уверенностью сказать, что она началась незадолго до конца прошлого века,

— обратная реакция привела к отмене запретов и к откровенности, но не такой, которая царила в минувшие века. Мы пришли к откровенности научного знания, а не к веселой искренности прошлого. Проблема любви стала ужасно серьезной. Серьезные молодые люди писали в газетах и журналах о том, что отныне невозможны шутки на какие-либо сексуальные темы. Профессора сочиняли толстые книги, в которых стерилизовали и анатомировали половую жизнь. Для серьезных молодых женщин — таких, как Мэри, — стало нормальным обсуждать с философским спокойствием вопросы, малейшего намека на которые было бы достаточно, чтобы бросить молодежь шестидесятих годов в горячку исступленного любовного возбуждения. Все их доводы заслуживают уважения, бесспорно. И все же... — Мистер Скоуган вздохнул. — Я со своей стороны хотел бы видеть наряду с этим научным рвением немножко больше жизнерадостного духа Рабле и Чосера.

— Совершенно с вами не согласна, — сказала Мэри. — Секс — это не шутка. Это очень серьезное дело.

— Может быть, — возразил мистер Скоуган, — может быть, я — старый циник, но должен признать, что не могу во всех случаях рассматривать его как серьезное дело.

— Но я говорю... — сердито начала Мэри; лицо ее покраснело от возбуждения, щеки стали как половинки большого спелого персика.

— В сущности, — продолжал мистер Скоуган, — секс, мне кажется, как мало что другое, никогда не перестает быть делом занятым. Любовь — единственный род человеческой деятельности — какое бы значение мы ей ни придавали, — в которой радость и удовольствие преобладают, пусть иногда в самой малой степени, над страданием и болью.

— Совершенно с вами не согласна, — сказала Мэри. Все замолчали. Анна посмотрела на часы.

— Почти без четверти восемь, — сказала она. — Интересно, когда появится Айвор?

Она поднялась из шезлонга и, опершись локтями на балюстраду, окинула взглядом долину и далекие холмы за ней. Косые лучи вечернего солнца отчетливо высветили складки холмов. Глубокие тени и рядом пятна света придавали им новую рельефность. Невидимые раньше неровности земли теперь стали заметны в игре света и тени. Причудливыми тенями были, как гравировкой, покрыты трава, посевы, листва деревьев. Все вокруг чудесно преобразилось.

— Смотрите! — вдруг сказала Анна, указывая на противоположный склон долины. Там, на гребне холма, из-за горизонта быстро двигалось

облако пыли, розоватое в солнечных лучах. — Это Айвор! Можно определить по скорости.

Пыльное облако спустилось в долину и исчезло. Проревел, приближаясь, клаксон автомобиля, похожий на крик морского льва. Еще минуту спустя из-за угла дома выскочил Айвор. Волосы его развевались от быстрого бега. Увидев всех, он рассмеялся.

— Анна, дорогая, — вскричал он и обнял ее, обнял Мэри и едва не обнял мистера Скоугана. — Вот и я! Прибыл с недоверительной скоростью. — Словарь у Айвора был богатый, но несколько странный. — Я не опоздал к ужину?

Он взобрался на балюстраду и сидел там, болтая ногами. Одной рукой он обнял большой каменный горшок для цветов, склонив голову к его шероховатой, покрытой лишайником стенке с выражением доверчивой привязанности. У него были волнистые каштановые волосы, а глаза очень яркого голубого цвета, вытянутая голова, узкое и довольно длинное лицо, орлиный нос. В пожилом возрасте — хотя трудно было представить себе Айвора пожилым — он мог обрести непреклонный облик Железного Герцога. Но сейчас, в двадцать шесть, лицо Айвора было замечательно живое, не чертами, но выражением: живое, привлекательное, с лучезарной улыбкой. Он все время находился в движении, неустанном и быстром, но не утрачивал при этом обаятельного изящества. Казалось, что его хрупкое стройное тело питала какая-то неисчерпаемая энергия.

— Нет, вы не опоздали.

— Вы как раз вовремя, чтобы ответить на вопрос, — сказал мистер Скоуган. — Мы спорили о том, серьезное дело любовь или нет. Как вы думаете? Серьезное?

— Серьезное ли дело любовь? — откликнулся Айвор. — В высшей степени!

— Что я вам говорила! — ликующе вскричала Мэри.

— Но в каком смысле серьезное? — спросил мистер Скоуган.

— Я имею в виду любовь как занятие. Можно заниматься ею снова и снова, и она не надоест.

— Понятно, — сказал мистер Скоуган. — Отлично.

— Можно заниматься ею, — продолжал Айвор, — всегда и везде. Женщины всегда замечательно одинаковы. Лицо, фигура могут немного отличаться, только и всего. В Испании, — свободной рукой он очертил в воздухе несколько пышных изгибов, — женщины такие, что с ними не разминуться на лестнице. В Англии... — он сложил вместе указательный и большой пальцы и, опуская руку, вытянул это кольцо в воображаемый

цилиндр, — в Англии они похожи на трубу. Но чувствуют они везде одинаково. По крайней мере я в этом постоянно убеждаюсь.

— Рад это слышать, — сказал мистер Скоуган.

Глава шестнадцатая

Дамы оставили мужчин за столом одних, и по кругу пошел графин с портвейном. Наполнив рюмку, мистер Скоуган передал графин дальше и, откинувшись на стуле, некоторое время молча оглядывал присутствующих. Беседа вяло текла вокруг него, но он к ней не прислушивался и улыбался чему-то своему. Гомбо заметил это.

— Что вас так развеселило? — спросил он.

— Я просто смотрел на всех вас, сидящих за этим столом.

— Неужели в нас так много смешного?

— Совсем нет, — вежливо ответил мистер Скоуган. — Меня просто забавляют мои собственные гипотезы.

— Какие же?

— Пустые и в высшей степени теоретические. Я пытался представить себе, на кого из первых шести римских императоров вы бы походили, если бы получили возможность вести себя подобно цезарю. Римские императоры — это мой пробный камень, — объяснил мистер Скоуган. — Это личности, действовавшие, так сказать, вне ограничений и запретов и развившие свои качества до логического конца. Поэтому они бесценны как своего рода эталон. Когда я встречаюсь с кем-нибудь впервые, то всегда задаюсь вопросом: если бы этого человека сделать римским императором, на кого бы он был похож — на Юлия, Августа, Тиберия, Калигулу, Клавдия или Нерона? Я беру все характерные черты этого человека, его интеллектуальные пристрастия и чувственные влечения, все его маленькие странности и увеличиваю все это в тысячу раз. Получаемый в результате образ дает мне формулу римского императора.

— И на кого же из императоров похожи вы сами? — спросил Гомбо.

— Во мне заложены качества их всех, — ответил мистер Скоуган. — Всех, за исключением, возможно, только Клавдия, который был слишком глуп, чтобы я мог превратиться в него. Отвага и неукротимая энергия Гая Юлия Цезаря, расчетливость Августа, похотливость и жестокость Тиберия, безрассудство Калигулы, артистический талант и огромное тщеславие Нерона — все это в зародыше есть во мне. При соответствующих возможностях из меня могло бы получиться нечто невероятное. Но обстоятельства были против меня. Я родился и вырос в доме сельского священника. Юность моя прошла в совершенно бессмысленной и тяжелой работе, за которую я получал очень мало денег. И в результате сейчас, в мои

годы, я вот такой бедняк, какой я есть. Но, быть может, это и неплохо. Быть может, неплохо также, что Дэнису не дано расцвести в маленького Нерона и что Айвор остается лишь потенциальным Калигулой. Да, так лучше, без сомнения. Однако любопытное было бы зрелище, если бы у них появилась возможность беспрепятственно развивать свои наклонности во всем их ужасе. Было бы приятно и интересно наблюдать, как их нервные срывы, слабости и маленькие пороки набухали бы, словно почки, давали бутоны и распускались огромными фантастическими цветами жестокости, тщеславия, похоти и жадности. Императора создает окружающая его обстановка, точно так же, как благодаря особой пище и специальной ячейке в улье вырастает матка. Мы отличаемся от пчел тем, что у них при соответствующей пище обязательно вырастет матка. У нас такой уверенности нет. Из каждых десяти человек, сделай их римскими императорами, лишь один сумеет обуздать свои страсти или окажется умным или великим. Все остальные станут Цезарями, он — нет. Семьдесят — восемьдесят лет назад, читая о том, что проделывали Бурбоны в Южной Италии, простодушные люди вскрикивали от изумления: подумать только, неужели такое возможно в девятнадцатом веке! А не так давно мы сами с изумлением узнали о том, что в нашем еще более удивительном двадцатом веке с несчастными темнокожими на Конго или на Амазонке обращаются так же, как с английскими сервами при короле Стефане. Сегодня нас этим уже не удивишь. Черные-и-хаки терзают Ирландию. Поляки предают силезцев. Распоясавшиеся итальянские фашисты устраивают резню и убивают своих бедных соотечественников — мы все воспринимаем как должное. После войны мы уже ничему не удивляемся. Мы создали условия для появления маленьких цезарей, и сразу появилось множество маленьких цезарей. Что может быть более естественным?

Мистер Скоуган допил свой портвейн и снова наполнил рюмку.

— В эту самую минуту, — продолжал он, — во всех концах света происходят самые ужасающие вещи. Людей пытаются, рубят, потрошат, калечат, их мертвые тела разлагаются, а глаза гниют. Вопли ужаса и боли уносятся в воздух со скоростью тысяча сто футов в секунду. Через три секунды полета они становятся совершенно неслышными. Все это огорчительные факты. Но из-за этого наслаждаемся ли мы жизнью хоть чуточку меньше? Совершенно определенно — нет. Мы испытываем сочувствие, несомненно, мы представляем в своем воображении страдания народов и отдельных личностей, мы сожалеем об этом. Но в конце концов, что такое сочувствие? Оно стоит очень мало, если только человек, которому мы сочувствуем, не самый близкий нам. И даже в этом случае наше

сочувствие и воображение не идут слишком далеко. И пожалуй, не так это и плохо, ибо если у кого-то достаточно живое воображение и глубокое сочувствие, чтобы ощутить страдания других людей, как свои собственные, то у такого человека не будет ни минуты душевного покоя. Сострадательный человек не может узнать счастья. Но мы, благодарение Богу, как я уже говорил, к таким не относимся. Когда началась война, я думал, что действительно страдаю вместе с теми, кто испытывает боль и муки. Но через месяц или два я должен был по совести признать, что это не так. И при этом, я думаю, у меня не менее живое воображение, чем у большинства людей. В страданиях человек всегда одинок — печальный факт для тех, кто страдает, но он делает возможным для всего остального человечества наслаждение жизнью.

Наступило молчание. Генри Уимбуш отодвинул свой стул.

— Я думаю, что нам, быть может, пора присоединиться к нашим дамам, — сказал он.

— Я тоже так считаю, — подхватил, с готовностью вскакивая, Айвор. — К счастью, — сказал он, оборачиваясь к мистеру Скоугану, — радоваться мы можем вместе. В радостях и удовольствиях мы не всегда обречены быть одинокими.

Глава семнадцатая

Айвор с силой ударил по клавишам и мощным аккордом закончил свою рапсодию. Торжествующая гармония лишь слегка нарушилась септимой, прозвучавшей под большим пальцем его левой руки одновременно с октавой. Однако общее впечатление великолепной бури звуков было достигнуто, а мелкие погрешности мало что значат, если общее впечатление удовлетворительно. К тому же эта едва слышимая септима была весьма современной. Айвор повернулся на табурете и откинул волосы, упавшие ему на глаза.

— Ну вот, — сказал он. — Боюсь, на большее я сейчас не способен.

Раздались аплодисменты и возгласы благодарности. Мэри, не отрывавшая глаз от исполнителя, громко воскликнула: «Замечательно!» — и судорожно глотнула воздух, словно задыхаясь.

Природа и удача соперничали друг с другом, щедро осыпая Айвора Ломбарда своими милостями. Он был богат и совершенно независим, красив и неотразимо обаятелен и имел на своем счету больше любовных побед, чем сам мог упомянуть. Он обладал необычайными по количеству и разнообразию достоинствами. У него был красивый, хотя и не поставленный тенор. Он мог с изумительным блеском, быстро и громко импровизировать за роялем; был неплохой любитель-медиум и телепат и располагал обширными знаниями о потустороннем мире из первых рук; с невероятной быстротой сочинял рифмованные стихи; стремительно писал картины, а символисты, и если рисунок бывал иногда слабоват, то краски всегда феерически яркие. Он походил на Шекспира тем, что лишь немного знал латынь и еще меньше — греческий: образование для такого ума казалось излишним и только помешало бы развиваться природным способностям.

— Пойдемте в сад, — предложил он. — Сегодня чудесный вечер!

— Благодарю, — сказал мистер Скоуган, — но я, например, предпочитаю эти еще более чудесные кресла. — Всякий раз, когда он затягивался своей трубкой, в ней что-то тихонько хлюпало. Мистер Скоуган чувствовал себя совершенно счастливым.

Счастливым чувствовал себя и Генри Уимбуш. Мгновенье он смотрел сквозь пенсне на Айвора, затем, ничего не сказав, вернулся к маленьким засаленным конторским книгам шестнадцатого века, которые были сейчас его любимым чтением. Мистер Уимбуш знал о хозяйственных расходах

сэра Фердинандо больше, чем о своих собственных.

В отряд, собравшийся под знамена Айвора, вошли Анна, Мэри, Дэнис и — несколько неожиданно — Дженни. Ночь была теплая и безлунная. Они ходили по траве взад и вперед, по террасе, и Айвор запел неаполитанскую песню «Stretti, stretti...»^[16] и дальше что-то о маленькой испанской девушке. В воздухе началась какая-то пульсация. Айвор положил руку на талию Анны, а голову уронил ей на плечо и шел так, распевая песню. Казалось, нет ничего проще и естественнее этого. Дэнис подумал о том, почему ему никогда не приходила мысль так поступить. Он ненавидел Айвора.

— Давайте спустимся к бассейну, — сказал Айвор. Он высвободил Анну из своих объятий и повернулся, чтоб вести свою паству. Они прошли вдоль боковой стены дома к началу тисовой аллеи, которая вела к нижнему саду. Дорожка между глухой высокой стеной дома и громадными тисами была как ущелье, в котором стоял непроницаемый мрак. Где-то справа был проход в тисовой изгороди и ступени вниз. Дэнис, который шел впереди, осторожно нащупывал путь: в такой темноте человеком овладевала безотчетная боязнь сорваться в глубокую пропасть или наткнуться на какое-то усаженное шипами препятствие. Внезапно за спиной Дэниса кто-то пронзительно вскрикнул, раздался резкий хлопок, который мог быть звуком пощечины, и голос Дженни, объявившей: «Я возвращаюсь в дом». Это было сказано решительным тоном, и не успела она еще закончить фразу, как уже растворилась в темноте. Инцидент, в чем бы он ни состоял, был исчерпан. Дэнис продолжил свой путь ощупью. Где-то позади Айвор тихо запел по-французски:

Филлиса по дороге к дому
Сдалась Сильвандру наконец
И поцелуй дружку младому
За тридцать отдала овец.

Мелодия песни переливалась с какой-то мягкой томностью, теплая ночь, казалось, пульсировала вокруг них, как кровь.

Назавтра, выгоду учуяв,

Нежнее стала к удалцу...

— Ступеньки! — громко сказал Дэнис. Он провел своих спутников через опасное место, и мгновение спустя они уже почувствовали под ногами дерн тисовой аллеи. Здесь стало светлее — или по крайней мере мрак казался менее глубоким, ибо тисовая аллея была шире, чем дорожка, ведущая вдоль дома. Подняв голову, они увидели полоску неба и несколько звезд между высокими черными стенами живой изгороди.

И что же? — тридцать поцелуев, — продолжил Айвор и, прервав себя, воскликнул. — Я вниз бегом! — и умчался по невидимому склону, допекая на бегу:

Он просит за одну овцу.

За ним побежали и остальные. Дэнис тащился позади, тщетно призывая всех к осторожности: склон был довольно крут, можно и шею сломать. Что с ними случилось, недоумевал он. Они стали как котята, нализовавшиеся валерьянки. Он и сам чувствовал, что где-то внутри него резвится котенок, однако, как и все его эмоции, это было скорее теоретическое чувство, оно не стремилось бесконтрольно выплеснуться наружу и воплотиться в какие-то практические действия.

— Осторожнее! — снова крикнул он и, не успев закончить, услышал впереди глухой удар тяжелого падения, потом долгий звук втягиваемого от боли воздуха — «с-с-с-с...» и вслед за этим очень жалобное «о-о-о!» Дэнис был почти рад: ведь он говорил им, этим идиотам, а они не слушали. Быстрыми мелкими шажками он побежал по склону к невидимой жертве собственной неосторожности.

Мэри устремилась к подножию холма, как набирающий скорость паровоз. Удивительно возбуждал нервы этот бег в темноте; ей казалось, что они никогда не остановятся. Однако земля у нее под ногами стала ровнее, незаметно для себя Мэри побежала медленнее, вдруг наткнулась на вытянутую руку и резко остановилась.

— Ага! — сказал Айвор, сжимая ее в объятиях. — Вот я вас и поймал,

Анна!

Она попыталась высвободиться.

— Это не Анна. Это Мэри.

Айвор весело и звонко засмеялся.

— Конечно, Мэри! — воскликнул он. — Сегодня я только и делаю, что попадаю впросак. Один раз так уже вышло с Дженни. — Он снова засмеялся, и что-то в этом смехе было такое веселое, что Мэри не выдержала и тоже засмеялась. Он не убрал обнимавшей ее руки, и все это казалось столь забавным и естественным, что Мэри больше не предпринимала попыток высвободиться. Так они и шли, прижавшись друг к другу, вдоль берега бассейна. Мэри была слишком маленького роста, чтобы он мог удобно положить голову ей на плечо. Он терся щекой, лаская и ласкаясь, о ее густые гладкие волосы. Скоро он снова запел, и ночь отзывалась трепетом любви на звук его голоса. Закончив, он поцеловал ее — Анну или Мэри, Мэри или Анну. Пожалуй, ему было все равно. Имелись, конечно, различия в мелочах, но общий эффект тот же, а общий эффект в конце концов главное...

Дэнис остановился на склоне холма.

— Очень больно? — спросил он.

— Это вы, Дэнис? Я ушибла лодыжку, и колено, и руку! Я вся разбита.

— Бедняжка Анна, — сказал он и, не удержавшись, добавил: — Однако неразумно было бежать вниз по холму в темноте.

— Осел! — раздраженно ответила она голосом, полным слез. — Конечно, неразумно!

Он сел подле нее на траву и почувствовал, что вдыхает тонкий прекрасный аромат ее духов.

— Зажгите спичку, — приказала она. — Я хочу взглянуть на свои раны.

Он нащупал в кармане коробку спичек. Пламя вспыхнуло ярко, затем стало гореть ровно. Как по волшебству, возникла крохотная Вселенная — мир красок и форм: лицо Анны, мерцающий желтый цвет ее платья, белые обнаженные руки, пятно зеленой травы, а вокруг тьма, которая стала густой и совершенно непроницаемой. Анна вытянула руки. Они были измазаны травой и землей, а на левой виднелись две или три красные ссадины.

— Ничего страшного, — сказала она.

Но Дэнис был ужасно расстроен и расстроился еще больше, когда, взглянув ей в лицо, увидел следы слез — невольных слез боли, задержавшихся на ее ресницах. Он вытащил платок и начал вытирать грязь

с ее исцарапанной руки. Спичка догорела, зажигать другую не стоило. Покорная и благодарная, Анна позволила ухаживать за собой.

— Спасибо, — сказала она, когда он очистил от грязи и перевязал ее руку, и что-то в ее голосе дало ему почувствовать, что она утратила свое превосходство над ним, стала моложе, чем он, стала вдруг почти ребенком. Он ощутил себя необыкновенно сильным и способным защитить ее. Это чувство так им овладело, что он непроизвольно обнял ее. Она придвинулась ближе и прислонилась к нему, и так они молча сидели. Затем снизу, тихие, но замечательно отчетливые в безмолвной темноте, до них донеслись звуки пения. Это Айвор продолжал свою незаконченную песню:

Увы, любовь не приневолишь:
Что нынче выдумал хитрец! —
За поцелуй один всего лишь
Он тридцать запросил овец!

Последовала довольно долгая пауза, словно для того, чтобы дать возможность подарить — или принять в подарок — несколько из тех тридцати поцелуев. Потом голос снова запел:

Отдаст, бедняжка, все на свете —
Овец, и кошек, и собак
За поцелуй, что Лизетте
Негодник дарит просто так^[17].

Последняя нота растаяла в ничем не нарушаемой тишине.

— Вам лучше? — шепотом спросил Дэнис. — Вам так удобно? Она молча кивнула в ответ на оба вопроса.

«Тридцать овец за один поцелуй...» Овца, пушистый ягненок, бе-е, бе-е — или пастух? Да, он решительно почувствовал себя пастухом. Он властелин, защитник. Волна отваги охватила его, согревая, как вино. Он повернулся к ней и начал целовать ее лицо, сначала куда придется, потом — стараясь найти ее губы. Анна отвернула лицо, и это движение одарило

его возможностью поцеловать ее ухо и нежную кожу шеи.

— Нет, — сказала она. — Нет, Дэнис!

— Но почему?

— Это убивает нашу дружбу, а мы так хорошо дружили.

— Вздор! — сказал Дэнис.

Она попыталась объяснить.

— Неужели вы не понимаете, — сказала она. — Это... Это совсем не наш номер.

Анна говорила вполне искренне. Она никогда не думала о Дэнисе как о мужчине, как о любовнике, ей и в голову не приходило ничего подобного. Он так нелепо молод, так... так... Она не могла подобрать определение, но знала, что имела в виду.

— Почему это не наш номер? — спросил Дэнис. — И кстати, это ужасное и совершенно неуместное выражение.

— Потому что не наш...

— А если я скажу, что наш?

— Это ничего не меняет. Я говорю, что не наш.

— Я заставлю вас сказать, что наш.

— Ну хорошо, Дэнис. Но только в другой раз. Мне надо вернуться в дом погреть ногу в горячей воде. Она начинает распухать.

Против доводов, касающихся здоровья, возражать было невозможно. Дэнис нехотя встал и помог подняться Анне. Она сделала осторожный шаг.

— О-о!

Анна остановилась и тяжело оперлась на его руку.

— Я понесу вас, — предложил Дэнис. Он никогда не пытался носить женщин, но в кино это всегда выглядело как геройство, не требующее особого труда.

— Вы не сможете, — сказала Анна.

— Конечно, смогу! — Он чувствовал себя более сильным, чем когда-либо, способным помочь ей. — Обнимите меня за шею, — приказал он. Она повиновалась, и он, наклонившись, подхватил ее под колени и оторвал от земли. Боже праведный, какая тяжесть! Шатаясь, он сделал пять шагов вверх по склону, потом едва не потерял равновесие и вынужден был резко опустить, почти бросить свою ношу.

Анна затряслась от смеха.

— Я же говорила, что вы не сможете, бедный Дэнис!

— Смогу, — сказал Дэнис не очень убежденно. — Я попробую еще раз.

— Очень мило с вашей стороны предложить это, но я, пожалуй, пойду

сама, спасибо. — Она оперлась рукой о его плечо и, прихрамывая, начала медленно подниматься по холму.

— Бедный Дэнис! — повторила она и засмеялась.

Униженный, он шел молча. Казалось невероятным, что всего лишь две минуты назад он держал ее в своих объятиях, целовал ее. Невероятно. Она была беспомощна, как ребенок; теперь же к ней вернулось ее превосходство, она снова стала существом далеким, желанным и недоступным. Почему он был таким дураком, чтобы предложить этот дешевый номер!

К дому Дэнис подошел в состоянии глубочайшего уныния. Он помог Анне подняться по лестнице, передал ее на попечение горничной, а сам спустился в гостиную. К его удивлению, все там сидели точно так же, как и до его ухода. Он ожидал каких-то перемен — ведь с тех пор как он отсюда ушел, прошла, казалось, целая вечность. Все тихо и все чертовски противно, подумал он, взглянув на них. Мистер Скоуган все еще хлюпал своей трубкой, это был единственный звук, нарушавший тишину. Генри Уимбуш углубился в конторские книги и не мог оторваться от них. Он только что сделал открытие: оказывается, сэр Фердлнандо имел обыкновение есть устриц все лето, невзирая на отсутствие в названии летних месяцев буквы «р». Гомбо в роговых очках читал. Дженни что-то таинственно царапала в своем блокноте. И, сидя в своем любимом кресле в углу у камина, Присцилла перебирала стопку рисунков. Она брала их один за другим, отводила на расстояние вытянутой руки, откидывая огромную оранжевую прическу, долго и внимательно рассматривала сквозь прищуренные веки. На ней было платье цвета морской волны очень светлого оттенка, и там, где декольте обнажало розовую припудренную плоть, мерцали бриллианты. Необыкновенно длинный мундштук торчал вбок. Бриллианты украшали и ее высокую прическу; они вспыхивали каждый раз, когда она поворачивалась. Присцилла рассматривала серию рисунков Айвора — эскизы потусторонней жизни, выполненные во время его спиритуалистических прогулок по иному миру. На обратной стороне каждого листа были описательные названия: «Портрет ангела. 15 марта, 20 г.»; «Астральные существа. 3 декабря, 19 г.»; «Группа душ на пути в высшую сферу. 21 мая, 21 г.». Прежде чем приступить к изучению лицевой стороны каждого листа, Присцилла переворачивала его, чтобы прочитать название. Как она ни старалась — а она старалась изо всех сил, — ей ни разу не удалось вызнать видение потусторонней жизни или установить с ней какой-то контакт. Ей приходилось довольствоваться впечатлениями, о которых рассказывали другие.

— А куда вы дели остальных? — спросила она, заметив Дэниса. Он объяснил. Анне пришлось отправиться в постель, Айвор и Мэри все еще в саду. Дэнис выбрал книгу, кресло поудобнее и попытался, насколько позволяло его подавленное состояние, настроиться на вечернее чтение. Лампа лила безмятежный свет, в комнате стояла полнейшая тишина, нарушаемая лишь шелестом переворачиваемых Присциллой листов. Все тихо и все чертовски противно, тихо и чертовски противно... Айвор и Мэри появились только через час.

— Мы ждали, пока взойдет луна, — сказал Айвор.

— Она сейчас вступила в фазу между второй четвертью и полнолунием, — объяснила Мэри научную сторону вопроса.

— В саду так прекрасно! Деревья, запах цветов, звезды... — Айвор взмахнул руками. — А когда вошла луна, это уже было слишком для меня. Я просто расплакался!

Он сел за пианино и поднял крышку.

— Огромное количество метеоров, — сказала Мэри, обращаясь к любому, кто готов был ее слушать. — Земля, должно быть, как раз вступает в период летнего потока метеоров. В июле и августе...

Но Айвор уже ударил по клавишам. Он играл, изображая в музыке сад, звезды, запах цветов, восходящую луну. Он даже ввел соловья, которого на самом деле не было. Мэри смотрела и слушала с открытым ртом. Остальные продолжали заниматься каждый своим делом, не обращая на музыку сколько-нибудь серьезного внимания. В этот самый июльский день ровно триста пятьдесят лет назад сэр Фердинандо съел семь дюжин устриц. Установление этого факта доставило Генри Уимбушу особую радость. Он испытывал врожденное почтение к предкам, и для него было наслаждением отмечать памятные трапезы. Триста пятидесятая годовщина съедения семи дюжин устриц... Жаль, что он не знал об этом до ужина, а то распорядился бы подать шампанского.

Отправляясь спать, Мэри зашла к Анне. Свет в ее комнате был погашен, но она еще не спала.

— Почему вы не спустились с нами в сад? — спросила Мэри.

— Я упала и вывихнула ногу. Дэнис помог мне вернуться домой.

Мэри была полна сочувствия. Кроме того, она ощутила внутреннее облегчение, обнаружив, что отсутствие Анны объясняется так просто. Там, в саду, она что-то смутно подозревала, что именно — она и сама не знала, однако казалось, было что-то *louché*^[18] в том, как она вдруг оказалась наедине с Айвором. Не то чтобы она не хотела этого, отнюдь нет. Но ей не нравилась мысль о том, что все это, возможно, было для нее подстроено.

— Надеюсь, завтра вам будет лучше, — сказала она, выражая сожаление по поводу всего, что Анна потеряла, лишившись этой прогулки, — сада, запаха цветов, метеоров, через летние потоки которых сейчас проходила Земля, восходящей Луны в фазе между второй четвертью и полнолунием. И потом, у них была такая интересная беседа. О чем? Почти обо всем. О природе, искусстве, науке, поэзии, звездах, спиритуализме, взаимоотношениях полов, музыке, религии. У Айвора, считала она, был интересный склад ума.

Молодые женщины расстались нежно.

Глава восемнадцатая

Ближайшая католическая церковь находилась в двадцати милях от Крома. Айвор, который всегда был педантичен в отправлении религиозных обрядов, спустился к завтраку раньше обычного, и без четверти десять его автомобиль уже стоял у дверей — изящная, дорогая машина чистого лимонного цвета, обитая внутри изумрудно-зеленой кожей. Мест было два; впрочем, если потесниться, можно было сесть и втроем; от ветра, пыли и непогоды защищал поднимавшийся над серединой кузова застекленный верх, придававший автомобилю сходство с элегантным экипажем восемнадцатого века.

Мэри, которой никогда не приходилось видеть службу в католической церкви, подумала, что это может быть интересно, и, когда автомобиль двинулся через большие ворота двора, свободное сиденье занимала она. Прозвучал сигнал, похожий на рев морского льва, потом звук его стал доноситься слабее, еще слабее, и они исчезли.

В приходской церкви Крома мистер Бодиэм избрал темой проповеди стих восемнадцатый из шестой главы Третьей Книги Царств «На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов», — проповедь эта имела непосредственное отношение к местным делам. В течение последних двух лет проблема военного мемориала занимала умы всех, у кого было для этого достаточно досуга, энергии или групповой заинтересованности. Генри Уимбуш всецело стоял за библиотеку — библиотеку литературы о здешних местах, где были бы собраны материалы об истории графства, старинные карты, монографии, посвященные местным древностям, словари диалектов, справочники по геологии и естественной истории края. Ему доставляло удовольствие думать о том, как местные жители, вдохновленные подобным чтением, будут по воскресеньям после обеда целыми компаниями отправляться на поиски окаменелостей и кремневых наконечников для стрел. Сами же местные жители поддерживали идею мемориального резервуара и системы водоснабжения. Но самая деятельная и речистая партия во главе с мистером Бодиэмом требовала соорудить что-нибудь религиозное по своему характеру — вторые ворота на церковном кладбище, или витраж в церкви, или мраморный памятник, или, если возможно, и то, и другое, и третье. До сих пор, однако, не было сделано ничего, частью потому, что члены комитета по возведению мемориала как и не смогли прийти к согласию, а частью по более веской причине:

пожертвования были еще слишком ничтожны, чтобы осуществить любой из предложенных проектов. Каждые три-четыре месяца мистер Бодиэм читал проповедь на эту тему. Последний раз он произнес такую проповедь в марте, и теперь было самое время освежить память прихожан.

— На кедрах внутри храма были вырезаны подоби́я огурцов...

Мистер Бодиэм слегка коснулся храма Соломона, от него перешел к храмам и церквям вообще. Что отличало эти здания, посвященные Богу? Несомненно, их совершенная, с человеческой точки зрения, бесполезность. Это непрактичные здания — «с вырезанными подоби́ями огурцов». Соломон мог бы построить библиотеку — в самом деле, что больше отвечало вкусам мудрейшего человека в мире? Он мог бы выкопать резервуар — что было бы более полезного в таком иссушенном зноем городе, как Иерусалим? Но он не сделал ни того ни другого. Он построил дом с вырезанными подоби́ями огурцов, бесполезный для практических нужд. Почему? Потому что он посвящал эту постройку Богу. В Кроме ведется много разговоров о строительстве военного мемориала. Военный мемориал по самой природе своей посвящен Богу. Это символ благодарности за то, что первая стадия всемирной войны увенчалась победой праведности. Это в то же время зримо воплощенная мольба о том, чтобы Бог не откладывал надолго своего пришествия, которое одно лишь способно принести вечный мир. Библиотека? Резервуар? Мистер Бодиэм осудил эти идеи с презрением и негодованием. Это деяния, посвященные человеку, а не Богу. И для военного мемориала они совершенно не подходят. Предлагалось возвести крытые ворота на кладбище. Это сооружение полностью отвечает определению военного мемориала: бесполезная постройка, посвященная Богу и украшенная вырезанными подоби́ями огурцов. Верно, одни такие ворота уже есть. Но нет ничего легче, чем построить еще одни. Выдвигаются и другие предложения. Витражи в церкви, мраморный памятник. Оба эти предложения заслуживают восхищения, особенно последнее. Пора уже возвести военный мемориал. Скоро может быть поздно. В любой момент, как тать в нощи, может явиться Бог. Между тем на пути осуществления идеи возникли трудности. Средства, собранные на строительство, недостаточны. Все должны внести жертвования соответственно своему состоянию. От тех, кто потерял родственников на войне, естественно ожидать пожертвований, равных тем расходам, которые они понесли бы на похороны, если бы эти родственники скончались дома. Дальнейшее промедление грозит катастрофой. Военный мемориал должен быть построен немедленно. Он вызывает к патриотизму и христианским чувствам

всех своих слушателей...

Генри Уимбуш шел домой, думая о том, какие книги он подарит мемориальной библиотеке, если она когда-либо откроется. Он решил пойти тропинкой через поле: это приятнее, чем по дороге. У первого перелаза через изгородь собралась, дымя сигаретами и раздражаясь приступами грубого хохота, компания деревенских парней, неотесанных мужланов в безобразных мешковатых черных костюмах, которые делают каждое воскресенье или праздничный день в Англии похожими на похороны. Парни посторонились, пропуская Генри Уимбуша, и притронулись к своим кепкам, когда он проходил мимо. Он ответил на их приветствие, при этом его котелок и лицо были как одно целое в своей невозмутимой серьезности.

Во времена сэра Фердинандо, подумал он, во времена его сына, сэра Джулиуса, эти молодые люди не были бы лишены своих воскресных развлечений даже в Кrome, далеком и глухом Кrome. Они состязались бы в стрельбе из лука, играли в кегли, плясали, то есть принимали бы участие в общественных увеселениях, чувствуя себя членами общины. Сейчас у них нет ничего, ничего, за исключением аскетического «Клуба юношей», основанного мистером Бодиэмом, да редких танцев и концертов, организуемых им самим. Выбор у этих бедных молодых людей невелик — либо скука, либо развлечения в главном городе графства. Деревенских забав больше не существовало: их искоренили пуритане.

В дневнике Джона Мэннингема от тысяча шестисотого года было странное место, вспомнил он, очень странное место. Некие мировые судьи в графстве Бэркшир — пуританские судьи — прослышали о постыдном прегрешении. Однажды лунной летней ночью они выехали со своими ^[19]rosse из города и натолкнулись среди холмов на группу мужчин и женщин, плясавших в совершенно обнаженном виде у загона для овец. Судьи и их свита направили своих коней прямо в толпу. Как неловко, должно быть, почувствовали себя эти бедняги, как беспомощны они были против вооруженных, обутых в тяжелые сапоги всадников! Плясавшие были арестованы, подвергнуты наказанию плетьюми, заключены в тюрьму, посажены в колодки. Плясок при луне с тех пор никогда не было. «Какой древний, земной обряд поклонения Пану был тогда искоренен?» — подумал он. Кто знает? Быть может, их предки плясали в лунном свете еще до Адама и Евы. Ему хотелось так думать. А теперь ничего подобного больше не было. Эти уставшие молодые люди, если захотят плясать, должны проехать на велосипедах шесть миль до города. Деревня брошена на произвол судьбы, лишена естественных развлечений, она не живет больше собственной жизнью. Благочестивые магистратские чиновники

навсегда погасили маленький веселый огонек, горевший от начала времен.

И над могилой Туллии лампада
Пятнадцать теплилась веков...[\[20\]](#)

Он повторил про себя эти строки и углубился в мрачные раздумья обо всем, что не дожило до настоящего.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Длинная сигара Генри Уимбуша испускала приятный аромат. На коленях у него лежала «История Крома». Он медленно переворачивал страницы.

— Не знаю, какой эпизод вам сегодня прочитать, — сказал он задумчиво. — Путешествия сэра Фердинандо не лишены интереса. Затем, конечно, его сын, Джулиус. Это у него была болезненная мания, будто его пот порождает мух, так что в конце концов он покончил с собой. Или сэр Сиприан... — Он принялся переворачивать страницы быстрее. — Или сэр Генри. Или сэр Джордж... Нет, пожалуй, я не склонен читать ни об одном из них.

— Но что-то ведь вы должны прочесть! — заявил мистер Скоуган, вынув изо рта трубку.

— Пожалуй, я прочитаю о моем деде, — сказал Генри Уимбуш, — и о событиях, которые привели к его браку со старшей дочерью последнего сэра Фердинандо.

— Хорошо, — сказал мистер Скоуган. — Мы слушаем.

— Прежде чем начать, — сказал Генри Уимбуш, отрывая глаза от книги и снимая пенсне, которое он только что водрузил на нос, — прежде чем начать, я должен сказать несколько предварительных слов о сэре Фердинандо, последнем из Лапитов. После смерти добродетельного и несчастного сэра Геркулеса он оказался обладателем семейного состояния, немало увеличенного умеренностью и бережливостью его отца. Он тотчас же посвятил себя задаче потратить это состояние и делал это щедро и весело. К сорока годам он проел, а точнее, пропил и пролюбил почти половину своего капитала и, несомненно, избавился бы тем же манером и от остальной его части, но тут, по счастью, дочь приходского священника вскружила ему голову настолько, что он сделал ей предложение. Молодая леди приняла его и менее чем через год стала полной хозяйкой Крома и своего мужа. В характере сэра Фердинандо произошли невероятные изменения. Он вел теперь размеренный и экономный образ жизни, стал почти трезвенником и редко выпивал за один раз более полутора бутылок портвейна. Истощившееся состояние Лапитов снова начало расти, и это несмотря на трудные времена (сэр Фердинандо женился в тысяча восемьсот девятом году в разгар наполеоновских войн). Казалось, завидным уделом сэра Фердинандо будет преуспевающая и достойная

старость, утешение которой — растущие и счастливые дети (ибо леди Лапит уже родила ему трех дочерей, и, кажется, у нее не было никаких причин не родить еще многих дочерей, а также сыновей) и тихое упокоение в семейном склепе. Однако провидение пожелало, чтобы все было иначе. Причиной — хотя, возможно, и косвенной — безвременной и насильственной смерти, положившей конец этому обновленному существованию, стал Наполеон, вызвавший и так уже столь неисчислимые беды.

Сэр Фердинандо, который превыше всего был патриотом, с первых дней войны с французами нашел свой собственный оригинальный способ праздновать наши победы. Когда радостная новость достигала Лондона, он имел обыкновение немедленно покупать большое количество напитков и, заняв место в первом попавшемся отъезжающем дилижансе, ехать по стране, объявляя добрую весть всем, кого он встречал по дороге, и щедро угощая напитками на каждой станции всех, кто имел желание слушать или пить. Так, после битвы на Ниле он доехал до самого Эдинбурга, а позднее, когда кареты, покрытые триумфальными лаврами и траурными кипарисовыми ветками отправились в путь с известием о победе и гибели Нельсона, он просидел всю холодную октябрьскую ночь на козлах «Метеора», направлявшегося в Норич, с морским бочонком рома на коленях и двумя ящиками старого бренди под сиденьем. Этот добрый обычай был одним из многих, от которых он отказался после женитьбы. Победа на Пиренейском полуострове, отступление Наполеона из Москвы, битва при Лейпциге, отречение тирана от престола — все это осталось неотпразднованным. Случилось, однако, что летом тысяча восемьсот пятнадцатого года сэр Фердинандо жил в течение нескольких недель в столице. Последовала череда тревожных, полных сомнений дней, затем пришла замечательная весть о Ватерлоо. Это уже было слишком для сэра Фердинандо: в нем вновь пробудилась его счастливая юность. Он поспешил к своему торговцу винами и купил дюжину бутылок бренди тысяча семьсот шестидесятого года. Дилижанс на Бат как раз отправлялся в путь. С помощью взятки он получил место на козлах и, гордо восседаая рядом с кучером, громким голосом провозглашал падение корсиканского бандита и всем раздавал веселящий и согревающий напиток. Они с грохотом проехали через Аксбридж, Слоу, Мейденхед. Спящий Реддинг был разбужен великой новостью. В Дидкоте один из конюхов был настолько переполнен патриотическими чувствами и бренди тысяча семьсот шестидесятого года, что не имел сил застегнуть пряжку на сбруе. Ночь становилась прохладнее, и сэр Фердинандо понял, что недостаточно

прикладываться к бутылке на каждой станции: чтобы согреться, он вынужден был пить также и между станциями. Они приближались к Суиндону. Дилижанс мчался с бешеной скоростью — шесть миль за последние полчаса, — когда вдруг, хотя до этой секунды он даже не покачнулся ни разу, сэр Фердинандо опрокинулся боком со своего сиденья и упал головой вниз на дорогу. Сильный толчок разбудил дремавших пассажиров. Дилижанс остановился, кондуктор с фонарем побежал назад. Он нашел сэра Фердинандо еще живым, но в бессознательном состоянии. Из рта у него текла кровь. Он попал под задние колеса, которые сломали почти все его ребра и обе руки. Череп у него был проломлен в двух местах. Его подобрали, но не успели доехать до следующей станции, как он умер. Так погиб сэр Фердинандо, жертва своего собственного патриотизма. Леди Лапит не вышла замуж второй раз, но решила посвятить остаток жизни трем своим дочерям — Джорджиане, которой к тому времени было пять лет, а также Эмелине и Каролине — двухлетним близнецам. Генри Уимбуш замолчал и снова надел пенсне.

— Вот и все в качестве вступления, — сказал он. — Теперь я могу читать о моем деде.

— Одну минутку, — сказал мистер Скоуган. — Я только набью трубку.

Мистер Уимбуш ждал. Устроившись отдельно в углу комнаты, Айвор показывал Мэри свои наброски потусторонней жизни. Они разговаривали шепотом.

Мистер Скоуган снова разжег трубку.

— Начинайте! — сказал он. Генри Уимбуш начал.

— «Мой дед, Джордж Уимбуш, впервые познакомился с «тремя очаровательными Лапит», как их всегда называли, весной тысяча восемьсот тридцать третьего года. Он был тогда молодым человеком двадцати двух лет с кудрявыми золотистыми волосами и гладким розовым лицом, которое было зеркалом его бесхитростной юной души. Он получил образование в школе в Хэрроу и колледже Крайст-Чёрч в Оксфорде, любил охоту, и, хотя он мог считать себя почти богатым, его развлечения были умеренны и невинны. Его отец, занимавшийся торговлей в Ост-Индии, прочил ему политическую карьеру и пошел на значительные расходы, купив чудесный небольшой округ в Корнуолле в качестве подарка сыну ко дню рождения, когда тому исполнился двадцать один год. Каково же было его возмущение, когда перед самой победой Джорджа на выборах Билль о реформе тысяча восемьсот тридцать второго года прекратил существование этого округа. Вступление Джорджа на политическую стезю пришлось отложить. В то время, когда он познакомился с очаровательными Лапит, он ждал. Он

отнюдь не был нетерпеливым.

Очаровательные Лапит не оставили его равнодушным. Старшая, Джорджиана, с черными локонами, сверкающими глазами, благородным профилем, лебединой шеей и покатыми плечами была по-восточному ослепительна, а близнецы с деликатно вздернутыми носиками, голубыми глазами и каштановыми волосами являли собой восхитительную пару совершенно похожих друг на друга английских красавиц.

Однако беседа с ними при первой встрече оказалась столь пугающей, что, если бы не тайное притяжение их красоты, у Джорджа никогда не хватило бы смелости продолжить знакомство. Близнецы, задрав перед ним носики с видом томного превосходства, спросили, что он думает о современных французских поэтах и понравилась ли ему «Индиана» Жорж Санд. Однако еще хуже, пожалуй, был вопрос, которым начала свой разговор с ним Джорджиана.

— Кстати, о музыке, — спросила она, чуть наклонившись и пристально глядя на него большими темными глазами, — вы сторонник классической или трансцендентальной музыки?

Джордж не растерялся. Он достаточно разбирался в музыке, чтобы знать: все классическое ему не нравится, и потому с готовностью, которая делала ему честь, ответил:

— Я сторонник трансцендентализма.

На лице у Джорджианы появилась чарующая улыбка.

— Рада слышать это, я тоже, — сказала она. — Вы, конечно, ходили на прошлой неделе слушать Паганини. «Молитва Моисея» — о! — Она закрыла глаза. — Знаете ли вы что-нибудь более трансцендентальное, чем эта музыка?

— Нет, — ответил Джордж. — Не знаю.

Он замялся, открыл было рот, но затем решил, — и совершенно справедливо, — что благоразумнее будет не признаваться в том, что больше всего ему понравились «Сельские имитации». Музыкант заставлял свою скрипку реветь по-ослиному, кудахтать, а также хрюкать, визжать, кричать, мычать и рычать. Этот последний номер, по мнению Джорджа, почти вознаградил слушателей за скуку всего концерта. Он улыбнулся от удовольствия, вспомнив об этом. Да, он решительно не был сторонником классической музыки, но убежденным трансценденталистом.

Джордж продолжил знакомство, нанеся визит молодым леди и их матери, которые в течение сезона жили в небольшом, но элегантном доме в районе Беркли-сквер. Леди Лапит осторожно навела кое-какие справки и, убедившись, что финансовое положение Джорджа, его характер и семья —

все это было вполне приличным, пригласила его у них отобедать. Она надеялась и рассчитывала, что ее дочери все выйдут замуж за пэров, однако, будучи женщиной рассудительной, знала, что благоразумно подготовить себя к различным случайностям. Джордж Уимбуш, подумала она, будет отличной запасной партией для одной из младших дочерей.

Во время первого обеда рядом с Джорджем за столом оказалась Эмелина. Они говорили о природе. Эмелина пылко заявила, что для нее высокие горы — это высокие чувства, а шум городов — пытка. Джордж согласился с тем, что жизнь в деревне приятна, но сказал, что Лондон во время сезона тоже имеет свои привлекательные стороны. С удивлением и некоторым заботливым состраданием он заметил, что у Эмелины плохой аппетит, что его попросту вовсе нет. Две ложки супа, кусочек рыбы, ни крошки птицы или мяса, три ягодки винограда — вот и все, чем она довольствовалась. Время от времени он поглядывал на ее сестер. Джорджиана и Каролина, по-видимому, были такими же воздержанными в еде. С выражением утонченного неудовольствия они жестом отказывались от всего, что им приносили, закрывая глаза и отворачиваясь от предлагаемого блюда, как если бы камбала, утка, телячье филе, бисквит с вином и сбитыми сливками вызывали у них отвращение своим видом и запахом. Джордж, который счел обед превосходным, отважился упомянуть про недостаток аппетита у сестер.

— Умоляю, не говорите со мной о еде! — сказала Эмелина, поникнув, как нежное растение. — Мы находим это столь грубым, столь бездуховным, мои сестры и я. Нельзя думать о душе, когда ешь.

Джордж согласился: действительно нельзя.

— Но ведь надо жить? — сказал он.

— Увы! — вздохнула Эмелина. — Надо. Смерть, конечно, прекрасна, не правда ли? — Она отломил кусочек гренка и принялась вяло пощипывать его. — Но поскольку, как вы говорите, надо жить... — Жестом она показала, что уступает необходимости. — К счастью, чтобы поддерживать жизнь, нужно очень немного. — И она положила на тарелку свой гренек недоеденным.

Джордж разглядывал ее с некоторым удивлением. Она бледна, но кажется необыкновенно здоровой, подумал он. Так же выглядят и ее сестры. Быть может, если человек живет по-настоящему духовной жизнью, ему надо меньше пищи? Сам он явно духовной жизнью не жил.

После этого он стал часто бывать у них. Всем им, начиная от леди Лапит, он понравился. Конечно, он не очень романтичен или поэтичен, но зато такой приятный, простой, добросердечный молодой человек, что не

может не нравиться. Он со своей стороны считал, что они замечательны, замечательны, особенно Джорджиана. Он испытывал к ним теплую, заботливую привязанность. Они нуждались в заботе и защите, ибо были слишком хрупки, слишком бесплотны для этого мира. Они никогда не ели, всегда были бледны, очень часто жаловались на лихорадку, много и охотно говорили о смерти и постоянно падали в обморок. Джорджиана была самой воздушной. Она ела меньше всех, чаще падала в обморок, больше всех говорила о смерти и была самой бледной; в ее поразительной бледности чудилось даже нечто искусственное. Казалось, в любой момент непрочная нить, которая удерживала ее в этом мире, могла порваться и отпустить ее в мир нематериальный. Мысль об этом была постоянной пыткой для Джорджа. Если ей суждено умереть...

Каким-то чудом она, однако, не умерла до конца сезона, и это несмотря на многочисленные балы, рауты и другие приемы, которые она с остальными сестрами из очаровательного трио никогда не пропускала. В середине июля вся семья уехала из Лондона. Джордж был приглашен провести август в Кроме.

Приглашены были туда достойные люди. В списке гостей значились имена двух титулованных молодых людей, достигших брачного возраста. Джордж надеялся, что сельский воздух, покой и природа, возможно, вернут аппетит трем сестрам и румянец их щекам. Он ошибался. В первый вечер за обедом Джорджиана съела только маслину, две-три соленые миндалины и половинку персика. За столом она говорила о любви.

— Истинная любовь, — сказала она, — будучи бесконечной и вечной, может быть освящена брачным союзом лишь в вечной жизни. Индиана и сэр Родольфо свершили таинственное бракосочетание своих душ, бросившись в воды Ниагары. Любовь несовместима с жизнью. Те, кто истинно любят друг друга, мечтают не жить вместе, а вместе умереть.

— Полно, полно, моя дорогая, — сказала леди Лапит, решительная и практичная. — Что стало бы со следующим поколением, скажи на милость, если бы все человечество поступало исходя из ваших принципов?

— Мама! — воскликнула Джорджиана и опустила глаза.

— В мои молодые годы, — продолжала леди Лапит, — меня бы осмеяли, если бы я сказала что-нибудь подобное. Но тогда, в мои молодые годы, душа не была в такой моде, как сейчас, и мы совсем не считали смерть поэтичной. Она была просто неприятной.

— Мама! — хором взмолились Эмелина и Каролина.

— В мои молодые годы... — Леди Лапит оседлала любимого конька. Ничто, казалось, не могло теперь остановить ее. — В мои молодые годы,

если у тебя не было аппетита, тебе прописывали порцию ревеня. Сейчас...

Раздался крик. Джорджиана склонилась в обмороке на плечо лорда Тимпани. Это было отчаянное средство, но оно подействовало. Леди Лапит была остановлена.

Дни проходили в безоблачной череде развлечений. В этом веселом обществе один лишь Джордж был несчастлив. Лорд Тимпани ухаживал за Джорджианой, и было очевидно, что он не встретил неблагосклонного приема. Джордж наблюдал за этим, и душа его погрузилась в ад ревности и отчаяния. Шумная компания молодых людей стала невыносимой для него. Он стремился избегать их и искал темных мест и одиночества. Однажды утром, оставив всех под каким-то сомнительным предлогом, он вернулся в дом один. Молодые люди купались в пруду. Их крики и смех долетали до него, и дом от этого казался еще более пустым и тихим. Очаровательные сестры и их мамаша все еще были в своих комнатах — они обычно не появлялись до ленча, и молодые люди могли по своему усмотрению распоряжаться временем все утро. Джордж устроился в зале и предался своим мыслям.

В любой момент она может умереть. И в любой момент может стать леди Тимпани. Это ужасно, ужасно. Если она умрет, тогда и он тоже умрет: он отправится искать встречи с ней по ту сторону жизни. Если она станет леди Тимпани... Что тогда? Решить эту проблему будет не так просто. Если она станет леди Тимпани... Ужасная мысль! Однако предположим, она любит Тимпани — хотя казалось невероятным, что кто-нибудь может любить Тимпани, — предположим, вся ее жизнь зависит от Тимпани, предположим, она не может жить без Тимпани? Он пробирался ощупью через бесконечный лабиринт этих предположений, когда часы пробили двенадцать. С их последним ударом, словно заводная кукла, из двери, ведущей в зал, оттуда, где были кухни, внезапно появилась маленькая служанка с большим закрытым подносом. Джорджа она явно не заметила, и он наблюдал за ней из глубокого кресла с ленивым любопытством. Громко стуча башмаками, она пересекла комнату и остановилась перед, казалось, совершенно гладкой поверхностью панельной обшивки. Она протянула руку, и, к крайнему изумлению Джорджа, в стене распахнулась маленькая дверь, открывая подножие винтовой лестницы. Повернувшись боком, чтобы поднос прошел через узкий вход, служанка скользнула внутрь — прямо и потом в сторону. Дверь за ней, щелкнув, закрылась. Через минуту она снова открылась, и служанка, уже без подноса, поспешила назад через зал и исчезла в направлении кухни. Джордж попытался вернуться к прежним размышлениям, но неодолимое любопытство вновь и вновь

обращало его мысли к потайной двери, винтовой лестнице, маленькой служанке. Тщетно говорил он себе, что это совершенно не его дело, что раскрытие тайны этой странной двери, этой загадочной лестницы за ней было бы непростительным нарушением всех приличий. Ничто не помогало. Пять минут он героически боролся с любопытством, но по истечении их оказался перед ничем не примечательной панелью, сквозь которую исчезла маленькая служанка. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы обнаружить потайную дверь — потайную, подумал он, лишь для тех, кто смотрел на стену невнимательно. Это была обычная дверь, почти сливающаяся с панелью. На ней не было ни замка, ни ручки, которые бросались бы в глаза, однако неприметная задвижка, утопленная в стене, просто притягивала к себе большой палец, чтобы открыть ее. Джордж удивился, как он не замечал этой двери раньше: теперь он видел ее так отчетливо — почти так же, как в библиотеке дверь шкафа с рядами поддельных полок. Он оттянул задвижку и заглянул внутрь. Винтовая лестница, ступени которой были не из камня, а из цельных дубовых блоков, спиралью поднималась вверх и исчезала. Свет сюда проникал сквозь похожее на щель окно. Джордж находился сейчас у подножия главной башни, и оконце выходило на террасу. Там, внизу, у пруда все еще слышались крики и плесканье.

Джордж закрыл дверь и вернулся в свое кресло. Но любопытство его не было удовлетворено. Оно было удовлетворено лишь частично, но это только разожгло его аппетит. Куда ведет винтовая лестница? Зачем была послана туда служанка? Это не его дело, продолжал он повторять про себя, не его дело. Он попытался читать, но внимание его рассеивалось. Мелодичные часы пробили четверть первого. Внезапно решившись, Джордж поднялся, пересек комнату, открыл спрятанную в стене дверь и начал подниматься по ступеням. Он миновал первое окно, поднялся по спирали выше и подошел ко второму. На мгновение он остановился и посмотрел наружу. Сердце билось тревожно, словно впереди подстерегала какая-то неведомая опасность. То, что он делает, говорил он себе, совершенно не подобает джентльмену, так могут поступать только ужасно невоспитанные люди. Ступая на цыпочках, он двинулся вперед и вверх. Еще один виток, потом еще полвитка, и перед ним оказалась дверь. Он остановился перед ней, прислушиваясь, но не услышал ни звука. Приложив глаз к замочной скважине, он не увидел ничего, кроме полосы белой, освещенной солнцем стены. Набравшись смелости, он повернул ручку, переступил порог — и остолбенел, раскрыв рот от того, что увидел.

В центре уютно освещенной солнцем маленькой комнаты («сейчас это

будуар Присциллы», — мимоходом заметил мистер Уимбуш) стоял небольшой круглый стол красного дерева. В его полированной поверхности, как в зеркале, отражался хрусталь, фарфор и серебро — вся сияющая сервировка изысканного ленча. Этот пиршественный стол был плотно уставлен: холодный цыпленок, ваза с фруктами, большой окорок, рассеченный до сокровенных глубин, где таились слои нежнейшего белого и розового, коричневое пушечное ядро фруктового пудинга, изящная бутылка белого рейнского и графин кларета. Вокруг стола сидели три сестры, очаровательные Лапит — и ели.

При внезапном появлении Джорджа они все повернулись к двери и теперь застыли, остолбенев от такого же изумления, какое поразило Джорджа. Джорджиана, сидевшая лицом прямо к двери, уставилась на него огромными темными глазами. Между большим и указательным пальцами правой руки она держала ножку разорванного цыпленка, изящно отставив согнутый мизинец.

Джорджиана открыла рот, но ножка цыпленка так и не достигла пункта своего назначения: она повисла в воздухе, словно замороженная. Ее сестры повернулись, чтобы посмотреть на незваного гостя. Каролина все еще крепко сжимала вилку и нож, пальцы Эвелины держали рюмку с кларетом. Казалось, очень долгое время Джордж и три сестры молча, с изумлением смотрели друг на друга, застыв скульптурной группой. Потом Джорджиана уронила цыплячью кость, нож и вилка Каролины со звоном упали на тарелку. Это вывело всех из оцепенения. Эвелина вскочила на ноги, испустив крик. Волна паники достигла Джорджа. Он повернулся и, бормоча что-то неразборчивое, бросился вон из комнаты и вниз по винтовой лестнице. Остановился он в зале и там, один в тихом доме, начал хохотать.

За ленчем все заметили, что сестры ели несколько больше, чем обычно. Джорджиана позабавлялась немного с несколькими фасолинами и съела ложку телячьего студня.

— Сегодня я чувствую себя лучше, — сказала она лорду Тимпани, когда тот поздравил ее с появлением аппетита, — немного более материальной, — добавила она с нервным смешком. Подняв голову, она встретила взглядом с Джорджем. Румянец залил ее щеки, и она поспешно отвела глаза.

Позднее они на какое-то время оказались в саду наедине.

— Вы никому не расскажете, Джордж? Обещайте, что не расскажете, — произнесла она умоляюще. — Это сделало бы нас такими смешными в глазах всех. И кроме того, еда ведь такое бездуховное занятие! Обещайте,

что вы никому не расскажете.

— Расскажу, — безжалостно ответил Джордж. — Всем расскажу, если вы не...

— Это шантаж.

— Мне все равно, — сказал Джордж. — Даю вам двадцать четыре часа на размышление.

Леди Лапит была, конечно, разочарована: она-то надеялась на большее — на Тимпани с короной пэра. Но и Джордж, в конце концов, был не так уж плох. На Новый год они поженились.

— Мой бедный дед! — добавил мистер Уимбуш, закрывая книгу и снимая пенсне. — Всякий раз, когда я читаю в газетах об угнетенных нациях, я думаю о нем. — Он разжег свою сигару. — Это был настоящий матриархат, в высшей степени централизованная власть и никаких демократических институтов.

Генри Уимбуш замолчал. В воцарившейся тишине снова стал слышен шепот Айвора, объяснявшего свои спиритуалистические эскизы. Внезапно проснулась задремавшая было Присцилла.

— Что? — спросила она испуганно, как бывает в подобных случаях. — Что?

Дженни расслышала ее восклицание. Она посмотрела на нее, улыбнулась, кивнула ободряюще.

— Это про окорок, — сказала она.

— Что про окорок?

— То, что Генри читал. — Дженни закрыла красный блокнот, лежавший у нее на коленях, и надела на него резинку. — Я иду спать, — объявила она и встала.

— Я тоже, — сказала Анна зевая. Но подняться из кресла у нее не хватило сил.

Ночь была жаркая, душная. Занавеси у открытых окон висели совершенно недвижимо. Обмахиваясь, как веером, портретом астрального существа, Айвор выглянул наружу, в темноту, и сделал глубокий вдох.

— Жарко, как в шерсти, — заявил он.

— После полуночи станет прохладнее, — сказал Генри Уимбуш и предусмотрительно добавил: — Возможно.

— Я знаю, что не усну.

Присцилла повернула в его сторону голову. Монументальная прическа качнулась, как всегда даже при самом легком движении.

— Вы должны сделать над собой усилие, — сказала она. — Когда я не могу уснуть, я сосредоточиваю свою волю. Я повторяю: «Я усну, я уже

сплю!» И — оп! — проваливаюсь. Такова сила внушения.

— Но действует ли она в душные ночи? — осведомился Айвор. — В душные ночи я просто не могу спать.

— Я тоже, — сказала Мэри. — Разве только на открытом воздухе.

— На открытом воздухе! Какая прекрасная мысль!

В конце концов они решили спать на плоских свинцовых крышах башен: Мэри — на западной, Айвор — на восточной; через люк туда можно принести матрасы. Под звездами, под луной между второй четвертью и полнолунием они, конечно, заснут. Были вытащены наверх матрасы, постелены простыни и одеяла, и через час двое страдающих бессонницей — каждый на своей башне — прокричали друг другу через разделяющую их пропасть пожелания спокойной ночи.

На Мэри убаюкивающие чары открытого воздуха не подействовали с той магической силой, на какую она рассчитывала. Даже через матрас нельзя было не почувствовать, что свинцовая крыша чрезвычайно жестка. А потом еще всякие звуки: то и дело ухали совы, а один раз, напуганные неизвестно чем, все гуси на ферме разразились внезапным гоготаньем. Надо было смотреть на звезды и на месяц в фазе между второй четвертью и полнолунием, а стоило метеору прочертить полосу по всему небу, и невольно хотелось широко открыть глаза и, сосредоточившись, дожидаться появления следующего. Время шло. Луна на небе поднималась выше и выше. Мэри хотелось спать еще меньше, чем тогда, когда она сюда выбралась. Она села и заглянула через парапет. Интересно, смог ли заснуть Айвор, подумала она. И словно в ответ на ее безмолвный вопрос, из-за дымовой трубы у дальнего конца крыши бесшумно появилась белая фигура, которую нельзя было не узнать в свете луны. Это был Айвор. Раскинув, как канатоходец, руки, он двинулся вперед по коньку крыши. Время от времени он покачивался, словно удерживаясь от падения. Мэри следила за ним затаив дыхание: может быть, он лунатик? Предположим, он внезапно пробудится. Если она заговорит или пошевелится, это может стать причиной его смерти. Больше смотреть она не могла и, откинувшись на подушки, напряженно прислушивалась. Некоторое время, показавшееся ей вечностью, до нее не доносилось ни звука. Потом раздались легкие шаги по черепице, затем скрежет и произнесенное шепотом «Черт возьми!». Внезапно над парапетом появились голова и плечи Айвора. Потом последовала нога, за ней другая. Он был на крыше ее башни. Мэри притворилась, что проснулась и удивлена.

— О! — сказала она. — Что вы тут делаете?

— Я не мог уснуть, — объяснил он, — вот и зашел узнать, может

быть, и вы не спите. Одному на башне ужасно скучно. Вы не находите?

Около пяти начало светать. Длинные, узкие полосы облаков прочертили небо на востоке, края их светились ярким оранжевым огнем. Небо было белесое и рыхлое. Со скорбным криком страдающей души, тяжело взмахивая крыльями, взлетел на башню огромный павлин и устроился на парапете. Айвор и Мэри вздрогнули и очнулись.

— Держи его! — закричал Айвор, вскакивая на ноги. — У нас будет перо!

Испуганный павлин бегал то в одну, то в другую сторону по парапету, смешно приседая, как в реверансе, подпрыгивая и кудахча. Длинный хвост тяжело волочился за ним при каждом повороте. Затем, захлопав крыльями, павлин взлетел, со свистом рассекая воздух, и величественно поплыл на восток, вновь обретя утраченное достоинство. Но от него остался трофей. Айвор держал в руке перо — лилово-зеленый, золотисто-голубой глаз в длинных ресницах. Он вручил его Мэри.

— Перо ангела, — сказал он.

Некоторое время Мэри смотрела на него, серьезно и сосредоточенно. Лиловая пижама свободно висела на ней, скрадывая линии тела. Она была словно большая, уютная, нескладная игрушка — плюшевый медвежонок, но с ангельской головкой, розовыми щеками и золотым колоколом волос. Ангельское личико, перо из ангельского крыла... Вся атмосфера этого рассвета была какой-то ангельской.

— Удивительная это вещь, если подумать, — половой отбор, — сказала она, наконец подняв голову и прервав свое задумчивое созерцание волшебного пера.

— Удивительная, — эхом отозвался Айвор. — Я отобрал тебя, ты отобрала меня. Какая удача!

Он обнял ее за плечи, и они стояли, глядя на восток. Первый солнечный луч начал согревать и окрашивать бледные тона рассвета. Лиловая пижама и белая пижама, молодая, прелестная пара. Поднимающееся солнце коснулось их лиц. Все было необыкновенно символичным. Но с другой стороны, если подумать, все в этом мире символично. Глубокая и прекрасная истина!

— Мне пора перебираться на мою башню, — сказал наконец Айвор.

— Уже?

— Боюсь, что да. Скоро встанет челядь и заснует по всему дому.

— Айвор...

Последовало долгое и безмолвное прощание.

— А теперь, — сказал Айвор, — я повторю мой номер на канате. Мэри

обняла его за шею.

— Не надо, Айвор. Это опасно. Пожалуйста.

Он вынужден был в конце концов уступить ее мольбам.

— Хорошо, — сказал он. — Я спущусь, пройду через дом и поднимусь с другой стороны.

Он скользнул в люк и исчез в темноте, которая все еще таинственно заполняла закрытый ставнями дом. Через минуту он появился на дальней башне, взмахнул рукой, затем скрылся за парапетом. Снизу, из дома, донеслось тонкое осиное жужжание будильника. Он вернулся как раз вовремя.

Глава двадцатая

Айвор уехал. Откинувшись на сиденье за ветровым стеклом в своем желтом седане, он кружил по дорогам сельской Англии. Неотложные светские и любовные обязательства звали его из одной усадьбы в другую, из замка в замок, из помещичьего дома эпохи Елизаветы в георгианский особняк — по всей стране. Сегодня Сомерсет, завтра Уорикшир, в субботу Уэст Райдинг, во вторник утром Аргайл — Айвор не знал ни дня покоя. Все лето — от начала июля до конца сентября — он выполнял свои обязательства. Он был мучеником долга. Осенью он возвращался в Лондон на отдых. Кром был маленьким эпизодом, мелькнувшим пузырьком в потоке его жизни. И уже принадлежал прошлому. К чаю он будет уже в Гобли, и там его ждет приветная улыбка Зенобии. А в четверг утром... Но это еще далеко-далеко впереди. Он будет думать о том, что ждет его в четверг утром, когда настанет утро четверга. А пока — Гобли, а пока — Зенобия.

В альбоме для гостей Крома Айвор по своей неизменной привычке оставил стихи. Он написал их экспромтом, с уверенностью мастера, в течение десяти минут, оставшихся до его отъезда.

Дэнис и мистер Скоуган не спеша возвращались от ворот, где были сказаны последние слова прощания. На столе в гостиной они увидели альбом. Он был раскрыт, и чернила еще не успели высохнуть. Мистер Скоуган прочитал творение Айвора вслух:

Былые чары сказочных царей,
На мрак ночной набрасывая сети,
Уснули в древней синеве морей,
В сердцах всего живущего на свете,
В сластолюбивых снах монастырей,
В аурумальных бабочках и лете,
В любой душе, чья пристань — эмпирей,
В первозаступнике и первоцвете.
Но здесь, как властный колокольный гром,
Стократ сильнее их сила колдовская:
Меня преследует приютный Кром.
Поймал, приворожил, не отпуская.

Без этих стен рыдаю я в тоске,
Отеческого Крома вдалеке^[21].

— Очень мило, со вкусом и тактично, — сказал мистер Скоуган закончив. — Меня смущают только «аурумальные бабочки». Вы по собственному опыту знаете о том, как работает поэтическое воображение, Дэнис. Не можете ли вы объяснить, что это значит?

— Нет ничего проще, — сказал Дэнис. — Прекрасное слово. Айвор хотел сказать, что крылья у бабочек золотые.

— Благодаря вам это становится совершенно понятным.

— Так приходится страдать, — продолжал Дэнис, — оттого, что красивые слова не всегда означают то, что они должны означать. Недавно, например, я уничтожил целую поэму только потому, что слово «карминативный» означало не то, что надо. «Карминативный» — замечательное слово, не так ли?

— Замечательное, — согласился мистер Скоуган. — А что оно значит?

— Это слово, которое нравилось мне с самого раннего детства, — сказал Дэнис. — Я любил это слово. Когда у меня бывала простуда, то мне давали коричную настойку — совершенно бесполезную в таких случаях, но довольно приятную. Ее наливали по капле из узких бутылок — золотистый напиток, огненный и согревающий. На этикетке были перечислены его достоинства, и, между прочим, он характеризовался как в высшей степени карминативный. Я обожал это слово. «Ну не карминативно ли это?» — спрашивал я себя, получая свою дозу. Это слово, казалось, замечательно передавало ощущение внутреннего тепла, этого — как лучше сказать — физического удовлетворения, приходившего после того, как выпьешь корицы. Позже, когда я открыл для себя вино, слово «карминативный» стало характеризовать для меня похожее, но более благородное, более духовное тепло, которое оно вызывает не только в теле, но также и в душе. Карминативные свойства бургундского, рома, старого бренди, изысканного «Лакрима Кристи», марсалы, алеатико, крепкого портера, джина, шампанского, кларета, молодого тосканского последнего урожая — я сравнивал, классифицировал их. Марсала веселяще карминативна, нежна, как пух; джин покалывает и освежает, в то же время согревая. У меня целая таблица карминативных свойств. И вот, — Дэнис развел руки ладонями вверх, изображая отчаяние, — и вот я знаю теперь, что на самом деле означает слово «карминативный».

— Ну, так что же оно означает? — несколько нетерпеливо спросил мистер Скоуган.

— Карминативный, — сказал Дэнис, нежно растягивая каждый слог, — карминативный. Я смутно представлял себе, что это слово как-то связано с carmen — carminis^[22], еще более неопределенно с саго — carnis^[23] и производными от него вроде карнавала и карнации. Карминативный — в этом была идея пения и идея плоти, розовой и теплой, с намеком на празднества mi-Carême^[24] и карнавальные гулянья Венеции. Карминативный... тепло, горячий огонь, физическая зрелость человека — все было для меня в этом слове. И вместо этого...

— Ближе к сути, дорогой Дэнис, — сказал протестующе мистер Скоуган. — Ближе к сути!

— Дело в том, что я на днях написал стихотворение, — сказал Дэнис. — Я написал стихотворение о воздействии любви.

— Другие до вас тоже писали, — сказал мистер Скоуган. — Тут нечего стыдиться.

— Я разрабатывал мысль о том, — продолжал Дэнис, — что воздействие любви часто подобно воздействию вина, что Эрос может опьянять так же, как Вакх. Любовь, например, по сути своей карминативна. От нее возникает ощущение тепла, жара. «И страсть карминативна, — как вино...» — вот что я написал. Строка не только элегантно звучащая, но, льстил я себе мыслью, и очень эмоциональная и лаконично выразительная. Все было в слове «карминативный» — детальный, ясный передний план, громадный, безграничный фон предположений.

«И страсть карминативна, как вино...»

Я был доволен собой. И вдруг мне пришло в голову, что я никогда, собственно, не проверял значения этого слова в словаре. Я вырос со словом «карминативный» со времен бутылки с коричной настойкой. Оно всегда принималось как само собой разумеющееся. «Карминативный» — это слово было для меня богатым по содержанию, как иное огромное, тщательно выписанное произведение живописи. Это был законченный пейзаж с человеческими фигурами.

«И страсть карминативна, как вино...»

Впервые в жизни я изобразил это слово на бумаге и сразу почувствовал необходимость авторитетного лексикографического подтверждения его. Под рукой у меня оказался лишь небольшой англо-немецкий словарь. Я открыл его на букву «К», «Ка», «Кар», «Карм»... Вот

оно: «Карминативный»: Windtreibend. Windtreibend!^[25] — повторил он.

Мистер Скоуган рассмеялся. Дэнис покачал головой.

— О, — сказал он, — для меня здесь причин для смеха не было. Для меня это знаменовало конец главы, смерть чего-то юного и прекрасного. Позади остались годы, годы детства и целомудренного простодушия, когда я полагал, что карминативный означает... — в общем, карминативный. И вот теперь передо мной остаток моей жизни — день, возможно, десять лет, половина столетия — и я буду точно знать, что карминативный означает windtreibend.

Plus ne suis ce que j'ai ete
Et ne le saurai jamais etre^[26]

Осознание этого приносит немало грусти.

— Карминативный, — задумчиво сказал мистер Скоуган.

— Карминативный, — повторил Дэнис, и оба на некоторое время замолчали. — Слова, — сказал наконец Дэнис, — слова... Не знаю, понимаете ли вы, как я люблю их. Вас слишком интересуют сами предметы, идеи, люди, чтобы вы могли оценить всю красоту слов. У вас не литературный склад ума. У вас мистер Гладстон, подобравший тридцать четыре рифмы к имени Марго, вызывает скорее жалость, чем что-либо еще. Рифмованные адреса на конвертах, написанные Малларме, оставляют вас совершенно равнодушным, если не пробуждают сострадания. Вы не можете понять, что

Apte a ne point te cabrer, hue!
Poste et j'ajouterai, dia
Si tu ne fuis onze-bis Rue
Balzac, chez cet Heredia ^[27]

— это маленькое чудо.

— Вы правы, — сказал мистер Скоуган. — Я этого понять не могу.

— Вы не чувствуете в этом ничего магического?

— Нет.

— Это пробный камень для литературного склада ума, — сказал Дэнис, — чувство магии слов, ощущение их власти. Техническая, языковая сторона литературы — это просто продолжение магии. Слово — первое и самое грандиозное изобретение человека. Речь помогла ему создать целую новую Вселенную. И нет ничего удивительного в том, что он полюбил слова и приписывал им могущественную силу. Когда-то чародеи, используя волшебные слова, извлекали кроликов из пустых шляп и стихийных духов земли, воздуха, огня и воды. Их потомки, литераторы, и сейчас продолжают этот процесс, сочленяя словесные формулы, и трепет радости и благоговения охватывает их, познавших могущество свершившегося волшебства. Кролики из шляп? Нет, их волшебные чары обладают более таинственной силой, ибо извлекают чувства из человеческих душ. Благодаря их искусству самые пустые и нелепые утверждения приобретают глубокий смысл. Например, я предлагаю констатацию: «Влит в лето лип лепет». Очевидная истина, одна из тех, которая не заслуживала бы упоминания, если бы я выразил ее в таких словах, как «Летом листья на липах шелестят под ветром». Или то же самое по-французски. Но коль скоро я выразил это таким образом: «Влит в лето лип лепет», — эта мысль становится, при всей ее очевидности, значимой, она врезается в память, захватывает. Создание с помощью слов чего-то из ничего — разве это не магия? И я могу добавить, разве это не литература? Половина величайших произведений поэзии человечества — это просто аксиома о том, что лепет лип сливается со звуками лета, переведенная в магическое звучание фразы «Влит в лето лип лепет». А вы не цените слов. Мне жаль вас.

— Карминативное для головы, — задумчиво сказал мистер Скоуган. — Вот что вам нужно.

Глава двадцать первая

Поставленный на четыре каменных гриба небольшой амбар в зеленом дворе поднимался на два или три фута над землей. Под ним была вечная прохлада и росла влажная, густая и пышная трава. Здесь, в тени, во влажной зелени нашло себе убежище от полуденного солнца семейство белых уток. Одни, стоя, чистили клювом перья, другие, как в воду, глубоко погрузились всем телом в прохладную траву. Утки негромко прерывисто перекликались между собой, и время от времени чей-нибудь острый хвостик исполнял восхитительное, как у Листа, тремоло.

Внезапно безмятежный отдых был прерван. Тяжелый удар потряс деревянное перекрытие над их головой. Все здание вздрогнуло, дождем посыпались комочки грязи и древесная труха. С громким непрекращающимся кряканьем утки вылетели прочь из-под этой неведомой опасности и остановились только в спасительной глубине двора.

— Держите себя в руках! — говорила Альна. — Слышите? Вы распугали уток. Бедняжки! И неудивительно.

Она сидела боком в низком деревянном кресле. Правый локоть покоился на его спинке, подбородок опирался на руку. Изгибы ее длинного стройного тела были полны ленивого изящества. Она улыбалась и смотрела на Гомбо прищуренными глазами.

— Черт вас возьми! — повторил Гомбо и снова топнул ногой. Он свирепо смотрел на нее из-за мольберта с наполовину законченным портретом.

— Бедные утки! — повторила Анна. Их кряканье замирало вдаль.

— Неужели вы не понимаете, что из-за вас я теряю время? — спросил он. — Я не могу работать, когда вы вот так дергаетесь и не можете посидеть спокойно.

— Вы бы меньше теряли времени, если бы перестали разговаривать и топтать ногами и вместо этого немного поработали кистью. В конце концов, зачем я здесь дергаюсь, если не для того, чтобы вы меня писали?

Гомбо издал звук, похожий на рычание.

— Вы просто ужасны, — убежденно сказал он. — Зачем вы просили меня приехать? Зачем говорите, будто вам хочется, чтобы я писал ваш портрет?

— По той простой причине, что вы мне нравитесь — по крайней мере когда вы в хорошем настроении, — и еще я думаю, что вы хороший

художник.

— По той простой причине, — сказал Гомбо, подражая ее голосу, — что вы хотите, чтобы я ухаживал за вами и чтобы вы могли потом позабавиться, водя меня за нос.

Анна откинула голову и рассмеялась:

— Значит, вы считаете, что мне интересно уклоняться от ваших ухаживаний? Так похоже на мужчину! Если бы вы только знали, как мужчины бывают вульгарны, отвратительны и скучны, пытаюсь ухаживать за женщиной, когда ей этого не хочется! Если бы вы только могли видеть себя нашими глазами!

Гомбо взял палитру и кисти и с раздражением набросился на холст.

— Вы, пожалуй, скажете теперь, что не начинали эту игру, что это я первый стал флиртовать с вами, а вы — невинная жертва, сидели тихо и ничего не делали, чтобы вскружить мне голову.

— Опять это так похоже на мужчину, — сказала Анна. — Всегда все та же старая история о женщине, соблазняющей мужчину. Женщина искушает, очаровывает, обольщает... А мужчина — благородный мужчина, невинный мужчина — становится жертвой. Бедняжка Гомбо! Надеюсь, вы не собираетесь начинать эту старую песню. Это так неумно, а я всегда считала вас умным человеком.

— Спасибо, — сказал Гомбо.

— Будьте немного объективны, — продолжала Анна. — Неужели вы не понимаете, что просто потакаете своему воображению, как все мужчины. И как это варварски наивно! Вы чувствуете, что у вас возникает желание по отношению к какой-нибудь женщине, и поскольку это желание очень сильно, вы немедленно обвиняете ее в том, что она искушает вас или преднамеренно провоцирует. У вас образ мышления дикаря. Вы могли бы точно с таким же основанием сказать, что тарелка клубники со сливками преднамеренно соблазняет вас и провоцирует на обжорство. В девяноста девяти случаях из ста женщины так же пассивны и невинны, как клубника со сливками.

— Что ж, я могу лишь сказать, что это как раз один случай из ста, — сказал Гомбо, не поднимая глаз.

Анна пожала плечами и выпустила вздох.

— Не знаю, чего в вас больше — глупости или грубости. Некоторое время Гомбо работал молча, затем снова заговорил.

— А потом еще Дэнис, — сказал он, возобновляя беседу, как если бы она только что прервалась. — Вы и с ним ведете ту же игру. Почему бы вам не оставить в покое несчастного юношу?

Анна покраснела от внезапного гнева.

— Вот это абсолютная неправда! — сказала она возмущенно. — Я никогда и не думала вести с Дэнисом, как вы изящно выразились, ту же игру.

Вновь обретая спокойствие, она добавила своим обычным воркующим голосом, зло улыбнувшись:

— Почему это вы стали так заботиться о бедном Дэнисе?

— Мне, — ответил Гомбо с серьезностью, которая была, пожалуй, чрезмерно торжественной, — мне не нравится, когда молодого человека...

— ...сбивают с пути истинного и губят, — сказала Анна, заканчивая за него предложение. — Я восхищаюсь вашими чувствами и, поверьте мне, разделяю их.

Почему-то ее задело замечание Гомбо о Дэнисе. Вот уж неправда. Гомбо, может быть, имел кое-какие основания для своих упреков. Но Дэнис! Нет, она никогда не флиртовала с Дэнисом. Бедный мальчик! Он очень милый... Она впала в задумчивость.

Гомбо работал с яростью. Огонь неудовлетворенного желания, который раньше отвлекал его мысли, не давал сосредоточиться, теперь, казалось, обратился в какую-то лихорадочную энергию. Когда он закончит, сказал он себе, это будет дьявольский портрет. Он писал ее в той позе, которую она естественно приняла во время первого сеанса. Сидя боком и положив локоть на спинку кресла, а голову и плечи повернув вперед, Анна воплощала в себе бездеятельную отрешенность. Он подчеркнул ленивые изгибы ее тела. Линии на холсте словно обвисали. Изящество фигуры, казалось, растворялось в тихом увядании. Рука, лежавшая на колене, была вяло-безжизненной, как перчатка. Теперь он писал лицо: оно начинало появляться на холсте — кукольное в своей правильности и безжизненности. Это было лицо Анны — но не освещенное внутренним светом мысли и чувства. Апатичная, бесстрастная маска. Сходство было поразительное. И в то же время это была самая злобная ложь. Да, это будет дьявольская вещь, когда он ее закончит, решил Гомбо. Интересно, что она об этом скажет.

Глава двадцать вторая

Еще раньше в тот же день Дэнис в поисках тишины и покоя удалился в свою комнату. Он хотел поработать, но в этот час клонило ко сну, а недавно съеденный ленч отягощал тело и голову. Полуденный демон овладел им. Он был во власти той тяжелой, безнадежной послеобеденной меланхолии, которой боялись обитатели монастырей в прошлом и которая была известна им под названием «accidie»^[28]. Он чувствовал себя, как Эрнест Доусон, «немного утомленным» жизнью. У него было настроение написать что-нибудь изысканное, тонкое, в духе квиетизма. Что-то чуть-чуть унылое и в то же время — как бы это выразиться? — чуть-чуть бесконечное. Он думал об Анне, о любви безнадежной и недостижимой. Может быть, это и есть идеальная любовь — любовь без надежды, тихая, гипотетическая. В печальном настроении тяжелой сытости он вполне мог поверить в это. Он начал писать. Из-под его пера вылилось изящное четверостишие:

Любовь печальная похожа
На потаенный лунный свет,
Что, грудь уснувшую тревожа,
Бескровный воскрешает след...^[29]

Но тут его внимание привлекли звуки, доносившиеся снаружи. Он посмотрел из окна вниз. Там были они — Анна и Гомбо, разговаривали и смеялись вместе. Они пересекли двор и, пройдя через калитку в стене справа, исчезли из виду. Это была дорожка к зеленому дворику и амбару. Она снова шла туда позировать ему. Его приятная меланхолия рассеялась от порыва горячих чувств. Он сердито швырнул свое четверостишие в корзину и сбежал вниз. Вот уж действительно потаенный лунный свет!

В холле он увидел мистера Скоугана. Тот, казалось, поджидал его в засаде. Дэнис попытался ускользнуть, но тщетно. Глаза мистера Скоугана загорелись, как у Старого Моряка в поэме Колриджа.

— Не так быстро, — сказал он, простирая свою маленькую, похожую на лапу ящерицы, руку с острыми длинными ногтями. — Не так быстро. Я как раз собирался в сад, на солнце. Пойдемте вместе.

Дэнис покорился. Мистер Скоуган надел шляпу, и они вышли рука об руку. На выстриженном газоне террасы Генри Уимбуш и Мэри

сосредоточенно играли в кегли.

Дэнис и мистер Скоуган спустились по тисовой аллее. Вот здесь, подумал Дэнис, именно здесь Анна упала, здесь он целовал ее, здесь — тут он покраснел от стыда, вызванного этим воспоминанием, — здесь он пытался нести ее и не сумел. Жизнь показалась ему невыносимой.

— Здравомыслие! — сказал мистер Скоуган, внезапно прерывая долгое молчание. — Здравомыслие — вот моя беда и будет ваша тоже, мой дорогой Дэнис, когда вы достаточно повзрослеете, чтобы выбирать между здравомыслием и безумием. В здравомыслящем мире я стал бы великим человеком. При нынешнем положении вещей, как оно курьезно сложилось, я вообще ничего собой не представляю. По сути дела, я не существую. Я просто *vox et praeterea nihil*^[30].

Дэнис ничего не ответил. Он думал совсем о другом. В конце концов, говорил он про себя, в конце концов Гомбо красивее меня, он более занимательный собеседник, более уверен в себе. И кроме того, он уже что-то собой представляет, а я все еще только — нераскрытые возможности...

— Все, что вообще совершается путного в этом мире, совершается безумцами, — продолжал мистер Скоуган. Дэнис пытался не слушать, но речь мистера Скоугана, лившаяся с железной неотвратимостью, постепенно захватывала его внимание. — Люди вроде меня — и вас, каким вы, может быть, станете, — никогда ничего не достигали. Мы слишком разумны. Мы просто люди рассудка. Нам не хватает человечности, неодолимой, фанатической одержимости. Люди готовы, чтобы немного поразвлечься, послушать философов, как они слушали бы скрипача или фигляра. Но чтобы поступать так, как советует разумным человек, — никогда. Когда бы ни приходилось делать выбор между разумным и безумцем, человечество всегда без колебаний шло за безумцем. Ибо безумец обращается к самой сущности человека — к его страсти и инстинктам. Философы же обращаются к внешнему и второстепенному — к рассудку.

Они вошли в сад. В начале одной из аллей стояла зеленая деревянная скамейка в море благоухающих кустов лаванды. Именно здесь, хотя здесь совершенно не было тени и дышать приходилось горячим, сухим ароматом вместо воздуха, — именно здесь мистер Скоуган решил сесть. Под прямыми лучами солнца он блаженствовал.

— Рассмотрим, например, Лютера и Эразма. — Он достал трубку и, не прекращая разговора, начал набивать ее. — Если и был на земле человек разума, то это, конечно, Эразм. Его сначала слушали — новый виртуоз, играющий на изящном и богатом красками инструменте, каким является интеллект. Им даже восхищались, перед ним преклонялись. Но побудил ли

он людей вести себя так, как он хотел, — благоразумно, пристойно или хотя бы чуть-чуть менее по-свински, чем обычно? Нет. И вот является Лютер, неистовый, страстный — безумец, по-сумасшедшему убежденный в невозможном. Он кричал, и люди бросались за ним. Эразма больше не слушали. Его поносили за рассудительность. Лютер — это было серьезно, это была реальность, как недавняя мировая война. Эразм — это только здравый ум и приличие. Он был мудр, но ему не хватило силы, чтобы побудить людей к действию. Европа пошла за Лютером и на полтора столетия предалась войнам и кровавым преследованиям. Печальная история!

Мистер Скоуган чиркнул спичкой. В ярком солнечном свете пламя ее было почти невидимо. К острому сладковатому запаху лаванды начал примешиваться запах тлеющего табака.

— Если вы хотите заставить людей вести себя разумно, то начинать убеждать их надо с заклинаний. Самые разумные наставления основателей религий распространяются только с помощью фанатизма, который здравомыслящему человеку не может не представляться прискорбным. Как унижительно убеждаться, насколько бессилён здравый рассудок. Он, например, говорит нам, что единственный путь сохранить цивилизацию — это вести себя порядочно и разумно. Здравомыслие призывает к человеку и убеждает. Наши правители погрязли в привычном свинстве, а мы молчим и повинемся. Единственная надежда — фанатичный крестовый поход. Я готов, когда он начнется, громче всех бить в тамбурын, но в то же время буду несколько стыдиться самого себя. Однако, — мистер Скоуган пожал плечами и, держа трубку в руке, сделал жест, выражавший покорность судьбе, — бессмысленно жаловаться на то, что все так сложилось. Здравый рассудок сам по себе бесполезен — это непреложный факт. Нам в таком случае остается разумно использовать силы безумия. Мы, здравомыслящие люди, еще обречем власть.

Глаза мистера Скоугана засияли ярче обычного, и, вынув трубку изо рта, он разразился своим громким, сухим, почти демоническим смехом.

— Но мне не нужна власть, — сказал Дэнис. Он сидел, безвольно поникнув, на краю скамейки, прикрывая глаза от нестерпимого света. Мистер Скоуган, прямой, как палка, на другом краю, снова засмеялся.

— Власть нужна всем, — сказал он. — Власть в той или иной форме. Власть, которой вы жаждете, — это литературная власть. Некоторые хотят власти, чтобы мучить других людей, вы сублимируете жажду власти, добиваясь возможности мучить слова, выкручивая их, расплавляя на огне и переливая в другую форму, подвергая пыткам, чтобы заставить

повиноваться себе. Но я отклонился от темы.

— Действительно? — слабым голосом спросил Дэнис.

— Да, — продолжал мистер Скоуган, игнорируя его замечание, — это время придет. Мы, люди интеллекта, научимся обуздывать безумие и ставить его на службу разуму. Мы не можем больше оставлять человечество на волю случая. Мы не можем позволить опасным фанатикам вроде Лютера, помешанного на своих догмах, вроде Наполеона, помешанного на самом себе, появляться время от времени и все переворачивать вверх дном. В прошлом это было не так страшно. Но механизм нашей сегодняшней жизни слишком хрупок. Еще несколько ударов вроде недавней войны, один-два Лютера — и все развалится на куски. В будущем люди разума должны позаботиться о том, чтобы безумие фанатиков направлялось в соответствующие каналы, чтобы его заставляли выполнять полезную работу, как горный поток вращает турбину динамо-машины.

— Производя электричество для освещения какого-нибудь отеля в Швейцарии, — сказал Дэнис. — Доводите до конца ваше сравнение.

Мистер Скоуган только отмахнулся.

— Нужно лишь одно, — сказал он. — Люди интеллекта должны объединиться, должны составить заговор и отобрать власть у слабоумных и фанатиков, которые сейчас правят нами. Мы должны основать Рационалистическое государство.

Жара, постепенно парализовавшая умственные и физические способности Дэниса, прибавляла, казалось, мистеру Скоугану новые силы. Он говорил со все возрастающей энергией, делая руками резкие, быстрые, точные жесты, блестя глазами. Жесткий, сухой голос его звучал и звучал безостановочно в ушах Дэниса с неумолимостью работающего механизма.

— В Рационалистическом государстве, — доносился до Дэниса этот голос, — люди будут разделены на особые биологические виды — в соответствии не с цветом глаз или формой черепа, а с уровнем их интеллекта и с темпераментом. Психологи-контролеры такой квалификации, которая сейчас показалась бы чем-то вроде ясновидения, будут обследовать каждого родившегося ребенка и относить его к соответствующему виду. Надлежащим образом маркированный ребенок получит образование, которое необходимо для данного вида, и, став взрослым, приступит к выполнению функций, которые способны выполнять человеческие существа его вида.

— Сколько всего видов будет в Рационалистическом государстве? — спросил Дэнис.

— Несомненно, очень много, — ответил мистер Скоуган. — Классификация будет тонкая и сложная. Однако входить в детали — не во власти пророка, да и не его это дело. Я лишь укажу три главных вида, на которые будут разделены граждане Рационалистического государства.

Он помолчал, прочистил горло и кашлянул один-два раза, отчего Дэнис сразу представил себе стол, на нем стакан и графин с водой и лежащую поперек указку, которой пользуются лекторы, когда показывают иллюстрации с помощью волшебного фонаря.

— Три главных вида, — продолжал мистер Скоуган, — будут такие: руководящие интеллектуалы, фанатики и стадо. Из интеллектуалов будут отобраны те, кто способен мыслить, кто знает, как в определенной степени освободиться — и увы! как ограничена эта свобода даже для самых интеллектуальных людей! — от духовного рабства своего времени. Элита интеллектуалов, выбранных из тех, кто занялся решением практических проблем, — вот кто будет править Рационалистическим государством. Орудием их власти будет второй важный человеческий вид — фанатики, безумцы, как я их назвал, — те, кто верит во что-то слепо, страстно и готов умереть за то, во что верит и о чем мечтает. Этим безумцам с их опасной способностью совершать как добро, так и зло больше не будет позволено непредсказуемо реагировать на непредсказуемые обстоятельства. Не будет больше Чезаре Борджиа, не будет Лютеров и Магометов, не будет Джоанн Сауткот и Комстоков. Старомодного человека веры и страсти — это необдуманное творение жестоких обстоятельств, который мог довести людей до слез и раскаяния, но равным образом заставить их резать друг другу глотки, заменит новый тип безумца, внешне все так же вспыхивающего огнем самопроизвольного воодушевления, но — о, как сильно отличающегося от безумцев былых времен! Ибо новый фанатик будет направлять свою страсть, мечты и воодушевление на осуществление какой-то разумной идеи. Он будет, совсем того не сознавая, орудием более совершенного интеллекта.

Мистер Скоуган злобно хихикнул. Казалось, будто он мстил исступленным фанатикам от имени рассудка.

— С самого раннего возраста, иначе говоря, с того момента, когда психологи-контролеры определяют их место в схеме, классифицирующей человеческие виды, фанатики начнут получать специальное образование под наблюдением интеллектуалов. Сформировав свое мировоззрение в результате долгого процесса внушения, они выйдут в мир, проповедуя и претворяя в жизнь с неподдельным энтузиазмом сугубо рациональные планы, разработанные наверху Элитой. Когда эти планы будут

осуществлены или когда идеи, бывшие полезными десяток лет назад, перестанут быть полезными, интеллектуалы внушат новому поколению безумцев новую вечную истину. На фанатиков возлагается функция направлять стадо, этот третий важный вид, к которому будут относиться бесчисленные миллионы тех, кто лишен умственных способностей или необходимого фанатизма. Когда от стада потребуется какое-то конкретное действие, когда будет необходимо ради сплочения усилий зажечь людей какой-то одной воодушевляющей мечтой или идеей, фанатики, которым будут заранее внушены простые и ясные убеждения, отправятся с миссией проповедовать ее. В обычные времена, когда высокий моральный накал, свойственный крестовым походам, становится вредным, фанатики будут усердно и без шума делать великое дело образования. Для воспитания стада будут научно использоваться почти безграничные возможности внушения. Систематически, с самого раннего младенческого возраста представителям этого вида будет внушаться, что вне работы и повиновения счастья быть не может. Их заставят поверить в то, что они счастливы, что являются исключительно нужными людьми и все, что они делают, важно и значительно. Для низших человеческих видов Земля вновь станет центром Вселенной, а человек — высшим существом на Земле. О, я завидую уделу простых людей в Рационалистическом государстве! Отрабатывая свои восемь часов в день, повинаясь высшим по интеллекту, не сомневаясь в собственном величии, значении и бессмертии, они будут удивительно счастливы — счастливы, как никто до них на земле. Всю жизнь они проживут в розовом опьянении, так никогда из него и не выходя. Фанатики будут играть роль виночерпиев в этом длящемся всю жизнь вакхическом празднестве, снова и снова наполняя чаши согревающим напитком, который в грустном и трезвом уединении за сценой будут готовить интеллектуалы для опьянения своих подданных.

— А каким будет мое место в Рационалистическом государстве? — сонно поинтересовался Дэнис, прикрываясь рукой от солнца.

Некоторое время мистер Скоуган молча смотрел на него.

- Определить его не так-то легко, — сказал он наконец. — Физическую работу вы делать не можете, вы слишком независимы и не поддаетесь внушению, чтобы вас можно было отнести к стаду. У вас нет ни одного из качеств, необходимых фанатикам. Что же касается руководящих интеллектуалов, то они должны быть изумительно логичными, безжалостными и проникательными. — Он помолчал и покачал головой. — Нет, места для вас я не вижу. Только в камере смерти.

Глубоко уязвленный, Дэнис изобразил громкий гомерический смех.

— Скоро я получу здесь солнечный удар, — сказал он и встал. Мистер Скоуган последовал его примеру, и они медленно пошли по узкой дорожке, отводя руками голубые цветы. Дэнис сорвал веточку лаванды и понюхал ее, потом несколько темных листьев розмарина, пахнувшего, как ладан в пустой церкви. Они прошли мимо клумбы мака, лепестки которого уже опали, а круглые, зрелые головки с семенами были сухие и коричневые — словно трофеи полинезийцев, подумал Дэнис, — отрезанные головы, насаженные на шесты. Этот образ показался ему достаточно удачным, чтобы поделиться им с мистером Скоуганом.

— Словно трофеи полинезийцев...

Но, произнесенный вслух, образ показался менее красивым и значительным.

Они замолчали, и в наступившей тишине послышался стрекот жаток в полях, которые раскинулись за садом. Шум их нарастал, как волна, потом стал спадать и перешел в отдаленный рокот.

— Приятно сознавать, — сказал мистер Скоуган, в то время как они медленно брели вперед, — что множество людей трудятся на полях, чтобы мы могли говорить о Полинезии. Как и за все хорошее в этом мире, за свободное время и доступ к богатствам культуры надо платить. К счастью, однако, платить приходится не тем, кто имеет свободное время и доступ к богатствам культуры. Давайте же будем думать об этом с должной благодарностью, мой дорогой Дэнис. С должной благодарностью, — повторил он, выколачивая пепел из трубки.

Дэнис не слушал его. Он вдруг вспомнил Анну. Она сейчас с Гомбо — одна с ним в его студии. Мысль об этом была нестерпима.

— Пойдемте заглянем к Гомбо, — предложил он как бы невзначай. — Интересно посмотреть, что он сейчас делает.

Внутренне он рассмеялся, представив, как расвирепееет Гомбо, увидев, что они пришли.

Глава двадцать третья

При их появлении Гомбо отнюдь не рассвирепел, как рассчитывал и ожидал Дэнис. Пожалуй, он скорее обрадовался, чем рассердился, когда в проеме открытой двери появились два лица — одно загорелое и острое, другое бледное и круглое. Энергия, в которую вылилась ярость, постепенно угасала, вновь распадаясь на составлявшие ее эмоциональные элементы. Еще немного, и он опять начал бы выходить из себя, а Анна сохраняла бы невозмутимость, еще больше приводя его в ярость. Да, он положительно был рад видеть их.

— Входите, входите, — радушно сказал он.

Вслед за мистером Скоуганом Дэнис поднялся по маленькой лестнице и переступил порог. Он подозрительно смотрел то на Гомбо, то на позирующую ему Анну и по выражению их лиц не мог понять ничего, кроме того, что они рады их приходу. Действительно это так или они лишь коварно изображают радость? Ответа на этот вопрос он не нашел.

Мистер Скоуган между тем смотрел на портрет.

— Отлично, — одобрительно сказал он. — Отлично. Пожалуй, слишком похоже на оригинал, если это только возможно. Да, бесспорно, слишком похоже. Но меня удивляет, что вы увлеклись всей этой психологией. — Он показал на лицо и провел пальцем по воздуху вдоль мягких изгибов написанной на холсте фигуры. — Я думал, вы один из тех, кто занимается исключительно сопоставлением объемов и столкновением плоскостей.

Гомбо засмеялся.

— Это случайно, — сказал он.

— Жаль, — сказал мистер Скоуган. — Мне, например, хотя я ни в малейшей степени не разбираюсь в живописи, всегда особенно нравится кубизм. Мне нравится смотреть на картины, из которых начисто изгнана природа, которые являются исключительно продуктом человеческого ума. От этих картин я получаю такое же удовольствие, какое приносят красивое логическое доказательство, изящное решение математической задачи или достижение инженерной мысли. Природа — или что-то, что напоминает о ней, — меня угнетает. Она слишком необъятна, слишком сложна и, самое главное, совершенно бессмысленна и непостижима. Я чувствую себя легко, когда имею дело с произведениями человеческого ума: если я только захочу по-настоящему, то смогу понять все, что сотворено руками или умом

человека. Именно поэтому я всегда езжу на метро, а не на автобусе, если только это возможно. Потому что из окна автобуса даже в Лондоне нельзя не видеть некоторые Божьи творения — небо, например, иногда дерево, цветы в ящиках под окнами. В метро же вы не видите ничего, кроме того, что создано человеком — железо с заклепками, принявшее геометрические формы, прямые линии бетона, узорчатые плоскости кафельной плитки. Все — человеческое, все — произведение доброго и ясного ума. Все философии и все религии — что они такое, как не туннели, проложенные сквозь Вселенную. По этим узким туннелям, где во всем узнаешь дело рук и разума человека, передвигаешься с удобством и безопасностью, забывая, что повсюду вокруг — под ними, над ними — простирается темная масса земли, бесконечная и неисследованная. Да, я всегда за метро и кубизм. За идеи — упорядоченные, ясные, простые и хорошо проработанные. И избавьте меня от природы, от всего, что слишком крупно по человеческим меркам, что слишком сложно и непонятно. У меня не хватает духу, а главное, времени, блуждать в этом лабиринте.

Пока мистер Скоуган произносил свою речь, Дэнис прошел в дальний конец прямоугольного помещения, где в низком кресле сидела Анна — все в той же свободной, изящной позе.

— Так что? — спросил он, глядя на нее почти свирепо. О чем он спрашивал? Дэнис и сам едва ли знал это. Анна взглянула на него и вместо ответа повторила, но уже другим, веселым тоном:

— Так что?

Дэнису, по крайней мере сейчас, нечего было больше сказать. В углу, за креслом, в котором сидела Анна, стояло два или три холста, повернутых к стене. Он вытащил их и стал разглядывать.

— Можно и мне посмотреть? — спросила Анна.

Он поставил картины в ряд у стены. Анне пришлось повернуться, чтобы увидеть их, — большой холст с изображением человека, упавшего с коня, натюрморт и небольшой пейзаж. Положив руки на спинку кресла, Дэнис склонился над Анной. За мольбертом в другом углу мистер Скоуган продолжал без умолку говорить. Долгое время они смотрели на картины молча — вернее, Анна смотрела на картины, а Дэнис большей частью смотрел на Анну.

— Мне нравятся человек и конь. А вам? — сказала она, наконец взглянув на него с вопросительной улыбкой.

Дэнис кивнул и потом странным, сдавленным голосом, словно ему стоило огромных усилий произнести каждое слово, сказал:

— Я люблю вас.

Анне приходилось слышать эту фразу множество раз, и в большинстве случаев она слушала ее с полным спокойствием. Но сейчас — может быть, потому, что слова эти были произнесены столь неожиданно, может быть, по какой-то другой причине — они вызвали в ней некоторое непонятное волнение.

— Мой бедный Дэнис, — сумела она сказать со смехом. Но при этом покраснела.

Глава двадцать четвертая

Был полдень. Спустившись из своей комнаты, где он предпринимал безуспешные попытки написать что-нибудь ни о чем, Дэнис обнаружил, что гостиная пуста. Он уже собирался выйти в сад, когда взгляд его упал на знакомый, но загадочный предмет — большой красный блокнот, который он так часто видел в руках у Дженни, тихо и сосредоточенно царапавшей в нем что-то. Она оставила его на диване у окна. Искушение было велико. Он взял блокнот и сдернул резинку, предусмотрительно натянутую на него и не дававшую его открыть.

«Посторонним смотреть запрещается», — большими буквами было написано на обложке. Он поднял брови. Похоже на то, что писали в латинской грамматике, когда он учился еще в подготовительной школе.

Ворон черен, черен грач,
Но еще чернее тот,
Кто эту книгу без спроса возьмет.

Так по-детски, подумал он, улыбнулся про себя и открыл блокнот. То, что он там увидел, заставило его вздрогнуть, словно от удара.

Дэнис был самым суровым критиком самого себя. Так по крайней мере он всегда считал. Ему нравилось думать о себе как о безжалостном вивисекторе, который рассекает трепещущие ткани собственной души. Он был подопытным животным для самого себя. Его слабости, чудачества — никто не знал их лучше его самого. В сущности, он смутно воображал, что никто, кроме него, вообще не подозревает об их существовании. Ему как-то не верилось, что другие люди могут на него смотреть такими же глазами, какими он смотрит на них, что о нем могут говорить в таком же свободном критическом и, если быть совсем честным, несколько язвительном тоне, в каком он привык говорить о них. Он знал о своих недостатках, но видеть их было привилегией только его одного. Для всего остального мира он, разумеется, являл собой хрустальный сосуд без единой трещины. Это почти не требовало доказательств.

Теперь, когда был открыт красный блокнот, этот хрустальный сосуд рухнул на пол и разбился вдребезги, так что невозможно было его собрать и склеить. Оказалось, что Дэнис — не самый суровый критик самого себя. Открытие было болезненным.

Его взгляду открылись плоды тихого занятия Дженни. Карикатурное изображение читающего Дэниса (с перевернутой книгой в руках). Позади — танцующая пара, в которой можно узнать Гомбо и Анну. Внизу подпись: «Басня о третьем лишнем и зеленом винограде». Вне себя от изумления и потрясения, Дэнис пристально рассматривал рисунок. Он был сделан мастерски. Безмолвный и безвестный Рувейр говорил в каждой из этих безжалостно четких линий. Выражение лица — напускное безразличие и мнимое превосходство, смешанное с плохо скрытой завистью, принятая им поза углубленного внимания и ученого достоинства, ненатуральность которой выдавали нервно сдвинутые носками внутрь ступни, — все это было ужасно. И еще более ужасным было портретное сходство, та непререкаемая достоверность, с которой были подмечены и искусно подчеркнуты его физические особенности.

Дэнис стал листать блокнот дальше. Там были карикатуры на других: на Присциллу и мистера Барбекью-Смита, Генри Уимбуша, Анну и Гомбо, мистера Скоугана, которого Дженни представила в зловещем, даже, пожалуй, дьявольском свете, на Мэри и Айвора. Дэнис едва взглянул на них. Им овладело пугающее желание — узнать худшее о себе. Он листал блокнот, не задерживаясь там, где не было его изображения. Ему оказалось посвящено семь страниц.

«Посторонним смотреть запрещается». Он нарушил этот запрет и получил лишь то, чего заслуживал. Задумчиво закрыл он блокнот и натянул на него резинку.

Став печальнее и мудрее, вышел Дэнис на террасу. Значит, размышлял он, вот как Дженни проводит часы досуга в своей одинокой башне из слоновой кости. А он-то считал ее простым и бесхитростным существом. Это он, пожалуй, оказался простаком. Он не был обижен на Дженни. Нет, мучения ему причинила не Дженни, а то, что она и ее красный блокнот представляли, что они означали и конкретно символизировали. Они представляли весь огромный мыслящий мир вне его самого. Они символизировали нечто такое, чего в своем сосредоточенном уединении он старался не замечать. Дэнис мог стоять на площади Пиккадилли, смотреть на текущие мимо толпы и все же воображать себя единственной действительно мыслящей, умной личностью среди всех этих тысяч людей. Казалось невозможным, чтобы другие люди были столь же сложны и совершенны на свой лад, как он. Невозможно — и все же время от времени он вдруг открывал с мукой что-то новое о мире и ужасную правду о том, что этот мир обладает интеллектом. Красный блокнот был одним из таких открытий — следами на песке, увиденными Робинзоном. Этот блокнот не

оставлял никаких сомнений: мир вне его действительно существует.

Сидя на парапете террасы, Дэнис некоторое время обдумывал эту неприятную истину. Продолжая размышлять о ней, он печально побрел к бассейну. По зеленой траве нижнего газона волочили свои жалкие наряды павлин и его подруга. Гнусные птицы. Их шеи, толсто и алчно мясистые у основания, сужались, переходя в отвратительно нелепые, безмозглые головы с плоскими глазками и острыми клювами. Баснописцы были правы, подумал он, когда брали зверей, чтобы проиллюстрировать свои сочинения о человеческой морали. Животные повторяют людей со всей достоверностью карикатуры (о, этот красный блокнот!). Дэнис бросил небольшую палку в сторону медленно шествующих птиц. Они кинулись к ней, думая, что их собираются кормить.

Он продолжал идти по парку и скоро оказался в густой тени гигантского дуба. Словно огромный древесный осьминог, он раскинул во все стороны свои длинные щупальца.

Над сельской кузницей темна
Дубов листва густая...

Он попытался вспомнить, чьи это были стихи, но не смог.

Кузнец в работе допоздна,
И круглых бицепсов блесит
Резина налитая.

Совсем как у него. Надо будет заставить себя заниматься гимнастикой по Мюллеру более регулярно.

Он снова вышел на солнце. Перед ним, отражая в своем сияющем зеркале голубизну и разнообразные оттенки зелени летнего дня, лежал бассейн. Глядя на него, Дэнис вспомнил обнаженные руки Анны, плотно облегающий ее купальный костюм, ноги и колени в движении.

И Люси, точно сарацин,
Кричит, в седле взлетая.

О, эти обрывки чужих мыслей и фраз. Сможет ли он хоть когда-нибудь назвать свой ум — своим? Есть там хоть что-нибудь, что действительно

принадлежит ему, или все только плод образования?

Дэнис медленно шел вдоль кромки воды. Там, где тисовые деревья расступались, образуя глубокую нишу, он увидел Мэри, которая печально сидела, прислонившись к пьедесталу забавной копии Венеры Медичи, изваянной каким-то безвестным каменотесом семнадцатого века.

— Привет, — сказал он, ибо проходил так близко от Мэри, что не сказать ничего было нельзя.

Мэри подняла глаза.

— Привет, — ответила она унылым, безразличным голосом.

Атмосфера в этом алькове под сенью темных деревьев показалась Дэнису подходяще элегической. Он устроился рядом с Мэри в тени пухлой богини. Они долго сидели молча.

Утром за завтраком Мэри нашла на своей тарелке почтовую открытку с изображением Большого парка в Гобли. Величественное здание в георгианском стиле с фасадом в шестнадцать окон, перед ним цветники, большие, гладко выстриженные газоны, уходящие вправо и влево за пределы фотографии. Еще десять лет финансовых трудностей — и Гобли со всеми своими пэрами канет в безвестность и запустение. Еще пятьдесят лет — и это бывшее величие сотрется из человеческой памяти. Сейчас, однако, подобные соображения Мэри не волновали.

На обратной стороне открытки вслед за адресом крупным размашистым почерком Айвора было написано лишь одно четверостишие:

Привет, невеста ночи, прощай, невеста утра!
Как перья серафимов, слетая с вышины,
В моем мерцают сердце, нежнее перламутра,
Воспоминанья счастья, и солнца, и луны^[31].

Затем шла приписка из трех строк: «Не будете ли Вы так добры попросить горничную переслать мне пакет лезвий для безопасной бритвы, который я оставил в ящике умывальника. Заранее благодарен. Айвор».

Сидя под статуей Венеры, которая стояла в своей вечной позе, Мэри размышляла о жизни и любви. Отказ от подавления инстинктов не только не принес желанного успокоения ее душе, но лишь повлек за собой тревогу, новые, не знакомые ей прежде страдания. Айвор, Айвор... Он был ей теперь необходим. С другой стороны, из стихов на обороте открытки явствовало, что Айвор мог вполне обходиться без нее. Он сейчас в Гобли. Там же и Зенобия. Зенобию Мэри знала. Она вспомнила последний куплет

песни, которую Айвор пел в тот вечер в саду.

Отдаст бедняжка все на свете —
Овец, и кошек, и собак
За поцелуи, что Лизетте
Негодник дарит просто так.

Вспомнив об этом, Мэри всплакнула. Еще никогда в жизни не была она так несчастна. Первым нарушил молчание Дэнис.

— Человек, — начал он тихим и печальным философским тоном, — это не самообеспечиваемая система. Бывает, он вступает в контакт с другими людьми и вынужден признавать существование других систем помимо него.

Он продумал это в высшей степени отвлеченное обобщение, чтобы предварить им свои откровения. Это был первый ход, который должен был привести к карикатурам, нарисованным Дженни.

— Верно, — сказала Мэри и, делая свое обобщение, добавила: — Когда кто-то вступает в близкий контакт с другим, она — или, разумеется, он, в зависимости от обстоятельств, — должна почти неизбежно навлечь на себя страдания или причинить их другому.

— Человек, — продолжал Дэнис, — так склонен зачаровываться зрелищем собственной личности, что забывает: это зрелище открыто другим так же, как и ему.

Мэри не слушала его.

— Эта проблема, — говорила она, — особенно остро чувствуется в вопросах половых отношений. Если кто-то естественным образом ищет близкого контакта с другим, он обязательно навлекает на себя страдания или причиняет их другому. Если же, с другой стороны, он будет избегать такого контакта, то рискует пережить не менее серьезные страдания, связанные с подавлением естественных инстинктов. Как видите, это дилемма.

— Когда я думаю о себе, — сказал Дэнис, делая более решительный шаг в желаемом направлении, — то поражаюсь, насколько мало я знаю психологию других людей и особенно их мнение обо мне. Наше сознание — запечатанная книга, которая лишь иногда открывается для внешнего мира. — Он сделал жест, который как бы наводил на мысль о снимаемой с книги резинки.

— Жуткая проблема, — задумчиво сказала Мэри. — Надо узнать ее на

собственном опыте, чтобы понять, какая она жуткая.

— Совершенно верно, — кивнул Дэнис. — Надо приобрести свой собственный опыт. — Он склонился к ней и слегка понизил голос — Как раз сегодня утром, например... — начал он, но его исповедь была прервана. Сильный удар гонга, смягченный расстоянием до приятного гула, поплыл от дома. Настало время обеда. Мэри машинально встала, и Дэнис, несколько уязвленный тем, что она может демонстрировать столь сильный интерес к еде и столь слабый к его душевным переживаниям, последовал ее примеру. До дома они дошли молча.

Глава двадцать пятая

— Надеюсь, вы помните, — сказал Генри Уимбуш во время обеда, — что следующий понедельник — праздничный день и вам всем придется помогать на ярмарке.

— Боже! — вскрикнула Анна. — Ярмарка! Я совершенно о ней забыла. Какой кошмар! Неужели вы не можете отменить ее, дядя Генри?

Мистер Уимбуш вздохнул и покачал головой.

— Увы, — сказал он, — боюсь, что нет. Я еще много лет назад подумывал об этом. Но у благотворительности есть свои права.

— Мы не благотворительности требуем, — протестующе пробормотала Анна. — Мы требуем справедливости.

— Кроме того, — продолжал мистер Уимбуш, — ярмарка стала своего рода институтом. Дайте-ка мне подумать — должно быть, уже двадцать два года прошло с тех пор, как мы стали ее устраивать. Тогда это было скромное начинание. А сейчас... — Он сделал широкий жест рукой и замолчал.

То, что мистер Уимбуш продолжал терпеть ярмарку, свидетельствовало о том, как серьезно он относится к своим обязанностям перед обществом. Возникнув как обычный благотворительный базар, ежегодная ярмарка в Кроме переросла в шумный хаос с каруселями, состязаниями для желающих попасть мячом в кокосовый орех и всякого рода представлениями — настоящую ярмарку, устраиваемую с большим размахом. Это был местный праздник святого Варфоломея, и жители окрестных деревень и даже города — центра графства — толпами сходились в парк, чтобы повеселиться. Местная больница получала немалый доход, и только это удерживало мистера Уимбуша, для которого ярмарка была источником повторяющихся и неослабевающих мучений, от того, чтобы положить конец неприятной затее, каждый год осквернявшей его парк и сад.

— Я уже обо всем распорядился, — продолжал Генри Уимбуш. — Несколько самых больших палаток установят завтра. Качели и карусель привезут в воскресенье.

— Итак, спасенья нет, — сказала Анна, обращаясь ко всем, кто был за столом. — Вы все должны выполнять какую-то обязанность. В качестве особой милости вам позволено самим выбрать вид подневольного труда. Я, как обычно, буду работать в чайной палатке. Тетя Присцилла...

— Дорогая, — сказала миссис Уимбуш, перебивая ее, — меня занимают дела более важные, чем ярмарка. Но, разумеется, в понедельник я сделаю все, что от меня зависит, чтобы поддержать дух веселья.

— Прекрасно, — сказала Анна. — Тетя Присцилла будет поддерживать дух веселья. А что вы будете делать, Мэри?

— Я ничего не буду делать там, где мне придется стоять и смотреть, как едят другие.

— Тогда присмотрите за детскими состязаниями.

— Хорошо, — согласилась Мэри, — присмотрю.

— А мистер Скоуган? Мистер Скоуган задумался.

— Позволено мне будет взять на себя роль гадалки? — спросил он наконец. — Мне кажется, из меня выйдет отличная гадалка.

— Но только не в таком костюме!

— Нет? — Мистер Скоуган оглядел себя.

— Вам придется надеть маскарадный костюм. Вы все еще настаиваете?

— Готов на все унижения.

— Прекрасно, — сказала Анна и повернулась к Гомбо.

— А вы будете художником-моменталистом, — сказала она. — «Ваш портрет в пять минут за шиллинг!»

— Жаль, что я не Айвор, — со смехом сказал Гомбо. — А то мог бы за лишний шестипенсовик добавлять изображениям ауры.

Мэри вспыхнула.

— Нет ничего хорошего, — сказала она, — в том, чтобы говорить с неуместным легкомыслием о серьезных вещах. И в конце концов, каково бы ни было ваше личное мнение, изыскания в области спиритуализма — это наука.

— А как насчет Дэниса? Дэнис сделал умоляющий жест.

— У меня нет никаких талантов, — сказал он. — Я буду просто одним из тех, кто с цветком в петлице указывает посетителям путь к чайному павильону и напоминает, чтобы они не ходили по траве.

— Нет-нет, — сказала Анна. — Это не подойдет. Вы должны взять на себя что-то более существенное.

— Но что? Все хорошие занятия уже распределены, а я умею разве что рифмовать слова.

— Что ж, в таком случае рифмуйте, — решила Анна. — Вы должны написать стихи — «Оду на выходной день». Мы отпечатаем ее на машинке дяди Генри и будем продавать по два пенса за экземпляр.

— По шесть пенсов, — протестующе сказал Дэнис. — Она будет

стоять шесть.

Анна покачала головой.

— Два пенса, — твердо повторила она. — Больше двух никто не заплатит.

— А теперь очередь Дженни, — сказал мистер Уимбуш. — Дженни, — произнес он, повышая голос. — Что будете делать вы?

Дэнис хотел было предложить, чтобы она рисовала карикатуры по шесть пенсов за штуку, но решил, что благоразумнее будет продолжать делать вид, будто он ничего не подозревает о ее таланте. Ему вновь представился красный блокнот. Неужели он действительно так выглядит?

— Что буду делать я? — отозвалась Дженни. — Что буду делать я? — На мгновение она задумчиво нахмурила брови, потом лицо ее осветилось, и она улыбнулась. — В детстве я умела играть на барабане.

— На барабане?

Дженни кивнула и в подтверждение своего заявления взмахнула над тарелкой ножом и вилкой, словно барабанными палочками.

— Если потребуется сыграть на барабане...

— Ну конечно же, — сказала Анна, — конечно, потребуется. Итак, за вами запишем барабан. Вот все и распределены.

— И притом отлично! — сказал Гомбо. — С нетерпением жду понедельника. Он должен быть веселым.

— Должен, конечно, — согласился мистер Скоуган. — Но можете быть уверены: не будет. Любой праздник — всегда разочарование.

— Ну-ну, — протестующе сказал Гомбо, — мое пребывание в Кроме, например, — отнюдь не разочарование.

— Нет? — Анна посмотрела на него безмятежно.

— Нет, — ответил он.

— Очень рада.

— Это в самой природе вещей, — продолжал мистер Скоуган. — Наши свободные дни, праздники, отпуска не могут не быть разочарованием. Задумайтесь на мгновенье. Что такое отдых? Идеал отдыха в платоническом смысле слова — это, безусловно, полная и абсолютная перемена. Вы согласны с моим определением? — Мистер Скоуган быстро оглядел сидевших за столом. Его острый нос проделал серию резких движений, поворачиваясь поочередно во все стороны света. Признаков несогласия не было. Мистер Скоуган продолжал:

— Полная и абсолютная перемена. Очень хорошо. Но не является ли полная и абсолютная перемена именно тем, чего мы никогда — никогда! — не можем достигнуть в силу самой природы вещей? — Мистер Скоуган

снова быстро окинул всех взглядом. — Конечно, является! Как люди, как представители рода хомо сапиенс, как члены общества — можем ли мы надеяться достигнуть абсолютной перемены? Мы связаны по рукам и ногам жутким пределом наших человеческих возможностей, идеями, которые общество навязывает нам вследствие нашей роковой способности поддаваться внушению, нашим собственным личным качествам. Для нас полный отдых невозможен. Некоторые из нас мужественно борются, пытаюсь найти такое место, где можно было бы рассчитывать на полную перемену обстановки, но мы никогда не сумеем, если мне будет позволено выразиться метафорически, мы никогда не сумеем выбраться дальше Саутэнда.

— Вы наводите уныние, — сказала Анна.

— Я этого и хотел, — ответил мистер Скоуган и, растопылив пальцы правой руки, продолжал: — Возьмем хотя бы меня. Какой отдых могу найти я? Надеясь меня страстями и талантами, природа ужасно поскупилась. Полный объем человеческих возможностей в любом случае прискорбно ограничен. В моем случае это границы внутри границы. Из десяти октав, доступных человеку, мне досталось не более двух. То есть я наделен каким-то умом, но не имею эстетического чувства, обладаю математическими способностями, но лишен религиозных чувств, и хотя по своей природе склонен к сладострастию, я лишен честолубия и отнюдь не алчен. Еще больше ограничило мои возможности образование. Я рос в обществе и в плоть и кровь впитал его законы. Я не только не хочу искать какого-то отдохновения от них, для меня мучительна даже сама мысль о том, чтобы попытаться это сделать. Одним словом, меня не только удерживает боязнь оказаться в тюрьме, но и совесть. Да, я знаю это по опыту. Как часто я пытался найти отдохновение, уйти от самого себя, от моего утомительного характера, от невыносимой интеллектуальной среды! — Мистер Скоуган вздохнул. — Но всегда безуспешно, — добавил он. — Всегда безуспешно. В юности я постоянно стремился — и с каким рвением, — обрести религиозное и эстетическое чувство. Вот, говорил я себе, две чрезвычайно важные и возвышенные эмоции. Жизнь будет богаче, теплее, ярче, интереснее в целом, если я проникнусь ими. И я пытался. Я читал сочинения мистиков. Они показались мне лишь жалкой трескотней — каковой, в сущности, должны представляться всякому, кто не испытывает того же чувства, которое испытывали их авторы. Ибо значение имеют именно чувства. Написанное сочинение — это просто попытка выразить эмоцию, которая сама по себе не поддается выражению ни интеллектуально, ни логически. Если у вас сильно сосет под ложечкой,

мистик способен преобразить это ощущение в космологию. Для иных мистиков эта космология символизирует глубокое чувство. Для неверующих она ничего не символизирует и потому представляется просто нелепой. Печальный факт. Но я отклоняюсь от темы, — прервал себя мистер Скоуган. — Пожалуй, достаточно о религиозном чувстве. Что же касается эстетического, его я пытался в себе развивать еще усерднее. Я познакомился со всеми прославленными произведениями искусства во всех уголках Европы. Было время, когда я, — позволю себе заметить, — знал о Таддео из Поджибонси, о загадочном друге Таддео даже больше, чем знает о нем Генри. Сегодня, счастлив это сказать, я растерял большую часть знаний, которые я тогда приобретал с таким рвением. Однако, не желая показаться тщеславным, могу заявить, что эти знания были исключительно обширными. Правда, в негритянской скульптуре или итальянской живописи конца семнадцатого века я не разбираюсь. Но обо всех течениях, которые были в моде до тысяча девятисотого года, я знаю — или знал — абсолютно все. Да-да, повторяю, все. Но стал ли я благодаря этому хоть немного больше понимать в живописи вообще? Нет, не стал. Оказавшись перед картиной, о которой я мог рассказать вам всю ее подлинную и предполагаемую историю — время создания, характер художника, под влиянием каких обстоятельств и людей эта картина была написана, — я не испытывал того необыкновенного возбуждения и восторга, которые, как мне говорят те, кто испытывает их, представляют собой истинно эстетическое чувство. Я не испытывал ничего, кроме определенного интереса к сюжету. Или, еще чаще, когда сюжет был банальным или религиозным, я не испытывал ничего, кроме сильной душевной скуки. Тем не менее я продолжал посещать выставки, должно быть, лет десять, прежде чем честно признался себе в том, что они мне просто надоели. С тех пор я оставил все попытки найти для себя отдохновение. Я продолжаю культивировать мое старое, устоявшееся, обычное «я» с покорностью клерка, который каждый день с десяти до шести выполняет свою работу в банке. Отдохновение, как же! Мне жаль вас, Гомбо, если вы все еще ожидаете его.

Гомбо пожал плечами.

— Возможно, — сказал он, — мои критерии не столь высоки, как ваши. Но для меня война была такой полной переменой и забвением всех человеческих приличий и норм благоразумия, что других мне больше не требуется.

— Да, — задумчиво согласился мистер Скоуган. — Да, война определенно была чем-то вроде отпуска. Это было подальше, чем Саутэнд,

это был Уэстонсюпер-Мэр, это был почти Илфракоум.

Глава двадцать шестая

В зеленых просторах парка, сразу за чертой сада раскинулся городок из палаток и павильонов. Улицы его заполнила толпа: мужчины, одетые главным образом в черное — парадный костюм для праздников и похорон, женщины — в светлые муслиновые платья. Там и тут висели, недвижимые в безветрии, национальные флаги. В центре палаточного городка, ярко-красная, золотая, хрустальная, сверкала на солнце карусель. В толпе бродил продавец воздушных шаров, они рвались вверх над его головой, словно огромная перевернутая гроздь винограда с ягодами разных цветов. Лодки карусели, как косой, разрезали воздух, и из трубы машины, которая ее крутила, поднимался тонкий, почти прямой столб черного дыма.

Дэнис поднялся на одну из башен сэра Фердинандо и там, стоя на прокаленной солнцем свинцовой крыше и облокотившись о парапет, обозревал эту сцену. Механический орган внизу изрыгал чудовищную музыку. Лязг автоматических тарелок с неумолимой точностью отбивал ритм пронзительно звучащим мелодиям. Все это напоминало звон меди и треск разбиваемого стекла. Одна басовая труба гудела, словно призывая на Страшный суд, с такой настойчивостью, таким резонансом, что ее чередующиеся тоники и доминанты отделились от остальной музыки и создали собственную мелодию: громкое монотонное движение вверх-вниз, вверх-вниз.

Дэнис склонился над морем бурлящего шума. Если бы он бросился через парапет, шум, без сомнения, не дал бы ему упасть, подхватил бы и удерживал в воздухе, как фонтан удерживает шарик вверху струи. Потом ему пришел в голову еще один образ, на этот раз в стихотворной форме.

Душа моя над огненным котлом
Как тонкий лист пергамента дрожит.^[32]

Плохо, плохо. Но образ чего-то тонкого и обреченного взорваться изнутри, снизу ему понравился.

Душа моя — под стать кишечной пленке...

Или лучше:

Душа подобна бледной перепонке...

Это было привлекательно: тонкая, бледная перепонка. В этом было что-то анатомически точное. Туго натянутая, трепещущая в грохоте бурной жизни...

Пришло время ему спуститься с безмятежного поэтического эмпирея в настоящий водоворот. Он шел по лестнице медленно. «Душа подобна бледной перепонке...»

На террасе кучкой стояли самые важные гости. Среди них был старый лорд Молейн — карикатура на английского милорда из какой-нибудь французской юмористической газеты: высокий человек с длинным носом и длинными обвисшими усами, с крупными зубами цвета старой слоновой кости, в нелепо коротком закрытом пиджаке, из-под которого торчали длинные-длинные ноги в серо-перламутровых брюках — ноги, которые подгибались в разные стороны в коленях, от чего его походка выглядела несколько вихляющей. Рядом с ним, короткий и плотный, стоял мистер Калламей, почтенный консервативный деятель с лицом, словно заимствованным у римского бюста, и с коротко остриженными седыми волосами. Молодые девушки не очень любили отправляться в автомобильные прогулки наедине с мистером Калламейем. А говоря о лорде Молейне, всегда удивлялись, почему он не живет в почетном изгнании на острове Капри среди других выдающихся лиц, которые по той или иной причине сочли для себя невозможным остаться в Англии. Оба джентльмена разговаривали с Анной и смеялись, один басисто, другой ухающе, как сова.

Черный шелковый шар с парашютом в черную и белую полоску на буксире оказался старой миссис Бадж из большого дома по другую сторону долины. Она стояла ниже по склону, и спицы черно-белого зонтика, которым она закрывалась от солнца, угрожали глазам Присциллы Уимбуш, возвышавшейся над ней, как башня, своей массивной фигурой, одетой в лиловое; голову Присциллы по-королевски увенчивал ток, покачивавшиеся черные перья которого напоминали о пышности парижских похорон по первому разряду.

Дэнис осторожно оглядел их всех из окна утренней гостиной. Его глаза внезапно стали невинными, детскими, непредубежденными. Они, эти люди, казались немыслимо фантастичными. И в то же время они реально

существовали, действовали сами по себе, обладали сознанием, собственным умом. Более того, он был таким, как они. Можно ли поверить в это? Но красный блокнот был решающим доказательством.

Вежливость требовала подойти и сказать: «Здравствуйте! Как поживаете?» Но Дэнис не хотел сейчас вести разговоров, он не мог бы вести разговоров. Его душа была тонкой, трепещущей, слабой перепонкой. Он хотел удержать ее нетронутой и целомудренной как можно дольше. Он осторожно выскользнул через боковую дверь и пошел вниз, к парку. Когда он приблизился к шуму и движению ярмарки, его душа затрепетала. Перед самым входом он на мгновение задержался, потом шагнул вперед и погрузился в людское море.

Сотни людей — у каждого свое собственное лицо, и все настоящие, индивидуальные, живые. Гнетущая мысль! Он заплатил два пенса и посмотрел Татуированную Женщину. Еще за два пенса — Самую Большую Крысу в мире. Из помещения, где показывали Крысу, он появился как раз вовремя, чтобы увидеть, как наполненный водородом шар взмыл вверх. Вслед ему громко заплакал ребенок. Но шар безмятежно поднимался и поднимался — совершенной формы, переливающийся опал. Дэнис следил за ним, пока он не потерялся в слепящих солнечных лучах. Если бы он только мог послать за ним свою душу!..

Он вздохнул, вдел розетку в петлицу и бесцельно, но с официальным видом начал пробиваться сквозь толпу.

Глава двадцать седьмая

Мистера Скоугана поместили в небольшой парусиновой палатке. В черной юбке, красном корсаже и желто-красном в горошек платке, повязанном поверх черного парика, остроносый, с темным морщинистым лицом, он удивительно походил на старуху цыганку с картины Фрита «День скачек». Афиша, прикрепленная булавками к занавеси, закрывавшей вход в палатку, возвещала о «Сесострисе, колдунье из Экбатаны». Сидевший за столом мистер Скоуган встречал своих клиентов в загадочном молчании, мановением пальца указывая, что они должны сесть против него и протянуть ему руки. Затем он рассматривал представленную ему ладонь, пользуясь лупой и очками в роговой оправе. Изучая линии на руке, он пугающе качал головой, хмурился и прищелкивал языком. Иногда он даже говорил шепотом, словно самому себе: «Ужасно, ужасно!» или «Господи, помилуй!» — рисуя при этом в воздухе изображение креста. Клиенты, входившие в смешливом настроении, внезапно менялись в лице и начинали относиться к колдунье всерьез. Это была внушительного вида женщина! А вдруг в этом все-таки что-то есть? А вдруг, думали они, глядя, как ведьма качает головой над их руками, а вдруг... И с тревожно бьющимся сердцем они ждали слов оракула. После долгого молчаливого изучения мистер Скоуган поднимал голову и хриплым шепотом задавал жуткий вопрос вроде: «Бил ли вас когда-нибудь молотком по голове рыжий молодой человек?» Получив, как и следовало ожидать, отрицательный ответ, мистер Скоуган несколько раз кивал, приговаривая: «Так я и думала. Значит, все еще впереди, все впереди, хотя ждать осталось недолго». Иногда после продолжительного рассматривания ладони он просто шептал: «Там, где неведение — блаженство, там глупо мудрым быть» — и отказывался сообщить какие-либо подробности о будущем, настолько ужасном, что оно ввергало его в отчаяние. Сесостриса имела успех и притягивала к себе, как притягивает что-то страшное. Люди выстроились в очередь перед палаткой, дожидаясь привилегии выслушать приговор.

Проходя мимо, Дэнис с любопытством взглянул на толпу просителей перед святилищем оракула. Ему ужасно захотелось посмотреть, как мистер Скоуган играет свою роль. Палатка была весьма шатким, кое-как поставленным сооружением. Между ее стенками и провисшей крышей зияли большие щели. Дэнис отправился к чайному шатру, взял там деревянную скамью и небольшой британский флаг и поспешил обратно к

обитатели Сесострисы. Поставив скамейку у задней стены, он влез на нее и с видом сосредоточенного усердия начал прикреплять флаг к одному из шестов палатки. Сквозь щели в парусине он теперь мог видеть внутри почти все. Повязанная платком голова мистера Скоугана была прямо под ним. Ясно слышались слова, произносимые жутким шепотом. Дэнис смотрел и слушал, как колдунья пророчила финансовые крушения, смерть от апоплексии, гибель от воздушных налетов в будущей войне.

— Разве будет еще одна война? — спросила пожилая дама, которой он предсказал этот конец.

— Очень скоро, — ответил мистер Скоуган со спокойной уверенностью.

Пожилую даму сменила девушка в белом муслиновом платье, украшенном розовыми лентами. На ней была шляпа с широкими полями, так что Дэнис не мог видеть ее лица. Но, судя по фигуре и округлости обнаженных рук, она была молода и недурна собой. Мистер Скоуган посмотрел на ее ладонь, потом шепотом сказал:

— Вы все еще невинны!

Молодая особа смущенно хихикнула и воскликнула:

— О Боже!

— Но вы не долго такой останетесь, — добавил мистер Скоуган замогильным голосом. Молодая особа снова хихикнула. — Рок, который определяет малое в не меньшей степени, чем великое, открыл мне это в линиях вашей руки. — Мистер Скоуган взял лупу и снова принялся рассматривать белую ладонь. — Интересно, — сказал он про себя, — очень интересно. Ясно как день. — И умолк.

— Что ясно? — спросила девушка.

— Мне не следует говорить вам это. — Мистер Скоуган покачал головой. Медные серьги, которые он прикрепил к своим ушам, тихонько звякнули.

— Ну пожалуйста, пожалуйста! — попросила она.

Колдунья, казалось, пропустила ее слова мимо ушей.

— А вот что дальше, не совсем ясно. Судьба не говорит о том, ждет ли вас впереди замужество и будет ли у вас четверо детей или вы попытаетесь сниматься в кино и у вас не будет ни одного ребенка. Конкретно указан только один этот довольно важный эпизод.

— Какой? Какой? Ну, расскажите мне!

Фигура в белом муслине нетерпеливо склонилась к мистеру Скоугану. Тот вздохнул.

— Ну что ж, — сказал он, — если вы настаиваете, пусть так. Но если

случится что-то неожиданное, вините только свое любопытство. Итак, слушайте. — Он поднял острый, с ногтем, похожим на коготь, указательный палец. — Вот что говорит судьба. В следующее воскресенье, в шесть часов вечера, вы будете сидеть на втором перелазе той тропинки, что ведет от церкви к нижней дороге. В этот момент там появится человек, мужчина. — Мистер Скоуган снова посмотрел на ее руку, словно для того, чтобы освежить в памяти детали этой сцены. — Мужчина, — повторил он, — невысокого роста, с острым носом, нельзя сказать, чтобы красивый, и не совсем молодой, но интересный. — Это слово он произнес медленно и с присвистом. — Он спросит вас: «Не можете ли вы показать мне дорогу в рай?» И вы ответите: «Да, могу» — и пойдете с ним к ореховой рощице.

Он замолчал.

— Это действительно правда? — спросил белый муслин.

Колдунья только пожала плечами.

— Я просто говорю вам, что прочитала в линиях вашей руки. С вас шесть пенсов. Да, сдача у меня найдется. Спасибо. До свидания.

Дэнис спрыгнул со скамейки. Кое-как привязанный к шесту, вяло повис британский флажок в безветренном воздухе. «Если бы я так умел», — подумал он, относя скамейку назад к чайной палатке.

За длинным столом, наливая из чайника чай в толстые белые чашки, сидела Анна. Перед ней на столе лежала аккуратная стопка отпечатанных листков. Дэнис взял один и посмотрел на него с нежностью. Это были его стихи. Их отпечатали в пятистах экземплярах, и листки четвертного формата выглядели очень приятно.

— Много продали? — спросил он небрежно.

Анна недовольно склонила голову набок.

— К сожалению, пока только три. Но я даю экземпляр бесплатно каждому, кто выпьет чаю больше, чем на шиллинг. Так что в любом случае тираж расходуется.

Дэнис не ответил, но медленно пошел из палатки. Он смотрел на лист, который держал в руках, и на ходу, смакуя, читал про себя напечатанные на нем строчки:

Качели, карусели, гири,
Азартный треск в стрелковом тире,
Американских горок визг,
Летающий мимо цели диск,
С пытящей трубкой «тетка Салли», —

Вы тоже кольца здесь бросали?
Кто это праздником назвал?
Чья маска каждый карнавал
Картонным носом непомерным
Тянулась к розам парфюмерным
Венецианских круглых щек?
Без маски кто б смеяться смог
Так вольно, как теперь смеется! —
Когда слона-канатоходца
Свирепый Гальба выводил,
По проволоке зверь ходил,
А в цирке бой гремел кровавый,
Иным казавшийся забавой:
Герои насмерть здесь дрались,
И чернь кричала: «Веселись,
Рабы империи бесправной,
Где жизнь мрачней тюрьмы бесславной!»
Прославим праздник! Кто из вас
За жизнь свою хотя бы раз
Отведал подлинной свободы?
Кроваво-красные разводы
На русском расцвели снегу,
Совсем как розы на лугу,
Сквозь лед и стужу прорастая,
И лепестки летели, тая,
Нетронутый окрасив снег.
И умирали... Человек
Разбил отжившие оковы,
Порядок смел средневековый,
Обычай, веру и закон
Преобразил, очистил он:
Растаял паром на морозе
Порок, и снег, подобно розе,
Кровавым запылал огнем. —
Прославим праздник! Петь начнем
Под деревом подлинной свободы!

В тени волшебной хороводы
Всю ночь води, Картонный Нос,

И песни пой, смеясь до слез!
«Свободны, счастливы...»

Но эхо
Доносит только отзвук смеха,
«Свободны, счастливы...» Увы,
Невесело смеетесь вы
На вашей ярмарке... «Свободны!»
Смешок фальшивый, безысходный,
С веселым распростился днем. —
Прославим праздник, петь начнем!^[33]

Он аккуратно сложил листок и положил его в карман. У этой вещи были свои достоинства. Решительно были. Но как неприятно пахнет толпа! Он закурил папиросу. Коровы пахнут лучше. Через калитку в стене парка он прошел в сад. Там центром шума и суматохи был бассейн.

— Второй заплыв в соревнованиях девушек!

Это был мягкий голос Генри Уимбуша. Его окружала толпа крепких и гладких, похожих на тюленей фигур в черных купальных костюмах. Серый котелок Уимбуша — аккуратный, круглый и неподвижный в центре движущегося моря — был островком аристократической невозмутимости.

Держа на расстоянии одного-двух дюймов от глаз свое пенсне в черепаховой оправе, он громко читал имена в списке.

— Мисс Долли Майлз, мисс Ребекка Баллистер, мисс Дорис Гейбелл!..

Пятеро молодых особ выстроились в ряд на краю бассейна. Со своих почетных мест на другой его стороне старый лорд Молейн и мистер Калламей смотрели на них с живым интересом. Генри Уимбуш поднял руку. Воцарилась напряженная тишина.

— Когда я скажу «Марш!» — прыгайте. Марш! — скомандовал он. Почти одновременно все оказались в воде, подняв фонтаны брызг.

Дэнис пробивался через толпу зрителей. Вдруг кто-то дернул его за рукав. Он взглянул вниз. Это была старая миссис Бадж.

— Очень рада снова вас видеть, мистер Стоун, — сказала она своим сиплым низким голосом. Она дышала несколько прерывисто, как старая астматичная болонка. Это именно миссис Бадж, прочитав в «Дейли миррор» о том, что правительству нужны персиковые косточки, — зачем

они были ему нужны, она так никогда и не узнала, — сделала собирание персиковых косточек своей «работой на войну». В ее фруктовом саду росло тридцать шесть персиковых деревьев, а в четырех ее теплицах они плодоносили и зимой, так что она имела возможность есть персики практически круглый год. В 1916 году она съела 4200 персиков и послала косточки правительству. В 1917 году военные власти призвали в армию трех ее садовников, и вследствие этого, а также по причине плохого для фруктовых деревьев года, в критический период, когда и решались судьбы нации, она сумела съесть лишь 2900 персиков. В 1918 году она добилась больших успехов, ибо между первым января и днем заключения перемирия съела 3300 персиков. После перемирия миссис Бадж позволила себе несколько расслабиться: теперь она съедала не более двух-трех персиков в день. Она жаловалась на то, что ее здоровье понесло ущерб, но понесло ущерб во имя правого дела.

В ответ на ее приветствие Дэнис пробормотал что-то неразборчивое и вежливое.

— Так приятно видеть, как веселятся молодые люди, — продолжала миссис Бадж. — Да и немолодые тоже, если на то пошло. Посмотрите на старого лорда Молейна и на милого мистера Калламея. Ну не приятно ли видеть, как они веселятся?

Дэнис посмотрел. Он не был уверен в том, действительно ли это приятно. Почему бы им не пойти посмотреть бег в мешках. Два пожилых джентльмена в эту минуту были заняты тем, что поздравляли победительницу соревнований. Пожалуй, это уж чрезмерная любезность: в конце концов, она выиграла только один заплыв.

— Прелестная малышка, не правда ли? — хриплым голосом спросила миссис Бадж, продолжая часто и тяжело дышать.

— Да, — кивнул Дэнис в знак согласия. Шестнадцать лет, стройная, но зрелая, подумал он и решил запомнить эту фразу как удачную.

Старый мистер Калламей надел очки, чтобы поздравить победительницу, а лорд Молейн, склонившись над тростью, обнажил свои длинные, цвета слоновой кости зубы в голодной улыбке.

— Превосходное выступление, превосходное, — глубоким голосом говорил мистер Калламей.

Победительница ежилась от смущения. Она стояла, заложив руки за спину, нервно потирая одну ногу о другую. Ее мокрый купальный костюм сверкал, вся она была похожа на статую из черного полированного мрамора.

— В самом деле, очень хорошо, — сказал лорд Молейн. Его голос,

казалось, исходил прямо из-за зубов — зубной голос, словно внезапно начала говорить собака. Он снова улыбнулся, а мистер Калламей поправил очки.

— Когда я скомандую «Марш!» — прыгайте. Марш!

Бултых! Начался третий заплыв.

— Знаете, я так и не научилась плавать, — сказала миссис Бадж.

— В самом деле?

— Но я умела держаться на поверхности.

Дэнис представил себе, как она держится, — вниз и вверх, вниз и вверх на большой зеленой волне. Надутый черный пузырь... Нет, это плохо, совсем плохо...

Поздравления принимала новая победительница. Она была ужасно коренастая и толстая. Та, предыдущая, была высокая, гармонично изваянная от колен до груди Ева кисти Кранаха, но эта... — скверный Рубенс.

— ...скажу «Марш!» — прыгайте. Марш!

Мягкий голос Генри Уимбуша еще раз произнес эту формулу. Еще одна группа девушек нырнула в воду.

Несколько устав поддерживать беседу с миссис Бадж, Дэнис кстати вспомнил о том, что обязанности распорядителя призывают его в другое место. Он протолкался через ряды зрителей и пошел по безлюдной дорожке. Он снова думал о том, что его душа — это тонкая, бледная перепонка, когда его мысли прервал высокий, свистящий голос: кто-то прямо у него над головой произнес одно-единственное слово: «Омерзительно!»

Дэнис быстро поднял голову. Дорожку, по которой он шел, защищала живая изгородь из ровно подстриженных тисов. За изгородью склон круто поднимался к подножию террасы и к дому. Тот, кто стоял выше по склону, мог без труда видеть все, что делалось за темной стеной тисов. Взглянув вверх, Дэнис увидел прямо над собой две головы, торчащие из-за изгороди. Он узнал железную маску мистера Бодиэма и бледное, бесцветное лицо его жены. Они смотрели поверх его головы, поверх голов зрителей на пловчих в бассейне.

— Омерзительно! — повторила миссис Бодиэм с тихим присвистом.

Священник обратил свою железную маску к синей тверди неба.

— Доколе? — сказал он, словно про себя. — Доколе?

Он опустил глаза, и взгляд его упал на поднятое удивленное лицо Дэниса. Последовало быстрое движение, и мистер и миссис Бодиэм исчезли за оградой.

Дэнис продолжил свою прогулку. Он шел мимо карусели, по забитым людьми улицам палаточного городка. Перепонка его души, как полотнище на ветру, хлопала под порывами смеха и шума. На отгороженной веревкой площадке Мэри руководила состязаниями детей. Малыши кишели вокруг нее, пронзительно вереща, другие крепко держались за юбки и брюки своих родителей. Разгоряченное лицо Мэри блестело от пота. Источая потоки энергии, она устраивала состязания в беге «на трех ногах», привязывая малышей друг к другу попарно: правую ногу одного к левой ноге другого. Дэнис смотрел на нее с восхищением.

— Вы изумительны! — сказал он, подойдя к Мэри сзади и трогая ее за руку. — Я никогда не видел такой энергии.

Она повернула к нему лицо — круглое, красное и простое, как заходящее солнце. Золотой колокол ее волос качнулся и замер.

— Знаете ли вы, Дэнис, — сказала она тихим, серьезным голосом, слегка задыхаясь, — знаете ли вы, что здесь есть женщина, которая родила троих детей за тридцать один месяц.

— Неужели? — сказал Дэнис, делая в уме быстрые вычисления.

— Это ужасно. Я ей сказала о Мальтузианской лиге. Нужно действительно...

Внезапный новый бурный взрыв пронзительного визга возвестил о том, что кто-то выиграл соревнования. Мэри снова стала центром опасного водоворота. Пора, подумал Дэнис, идти дальше: как бы его не попросили что-нибудь сделать, если он еще здесь задержится.

Он снова пошел в сторону палаточного городка. Все настойчивее давала о себе знать мысль о чае. Чай, чай, чай. Но чайная палатка оказалась битком набита. С необычным для нее угрюмым выражением раскрасневшегося лица Анна яростно наклоняла большой чайник. Коричневая струя лилась и лилась в подставляемые ей чашки. В другом углу Присцилла в своем королевском токе с важным видом вселяла в деревенских мужество и надежду. На мгновение шум в палатке стих, и Дэнис услышал ее низкий добродушный смех и мужской голос. Совершенно очевидно, сказал он себе, что это место не для того, кто хочет чаю. Он нерешительно остановился у выхода из палатки. Вдруг в голову ему пришла прекрасная мысль: если он вернется в дом, если пройдет тихо, никем не замеченный, если тихонько войдет в столовую и бесшумно откроет дверцы буфета — о, тогда, там!.. В его прохладной глубине он найдет бутылки и сифон; возьмет бутылку кристального джина и четверть содовой и — чаши, что пьянят и веселят...

Через минуту он уже быстро шел по тенистой тисовой аллее. В доме

стояла приятная тишина и прохлада. Осторожно неся почти до краев наполненный стакан, он вошел в библиотеку. Там, поставив стакан на угол стола рядом с собой, он устроился в кресле с томиком Сент-Бёва. Нет ничего лучше «Бесед по понедельникам», решил он, для успокоения и утешения взволнованной души. Эта его тонкая перепонка была слишком грубо потревожена утренними переживаниями. Она требовала отдыха.

Глава двадцать восьмая

К закату затихла и ярмарка. Пришло время начинать танцы. В палаточном городке отгородили веревками площадку. Ацетиленовые фонари, развешанные вокруг на столбах, бросали на нее резкий белый свет. В одном углу сидел оркестр, и, послушные пиликанию скрипок и пыхтению фаготов, две или три сотни танцующих шаркали ногами по сухой земле, вытаптывая башмаками траву. Вокруг этого пятачка, где было светло почти как днем и где все было полно движения и шума, ночь казалась неестественно темной. Полосы света прорезали ее, и время от времени то одинокая фигура, то пара влюбленных, тесно прижавшихся друг к другу, пересекали яркий сноп, становясь на мгновение видимыми, чтобы снова исчезнуть так же быстро и внезапно, как и появились.

Дэнис устроился близ выхода с площадки, глядя на качающихся и скользящих в танце людей. В медленном водовороте, описав круг, пары снова и снова появлялись перед ним, словно он проходил мимо них, делая смотр. Тут была Присцилла, все еще в своем королевском токе, все еще вселявшая в деревенских мужество и надежду — на этот раз танцующая с одним из местных фермеров. Тут был лорд Молейн, который остался и закусил кое-как вместе со всеми, — настоящего ужина в этот день не было. Волоча ноги и вихляя коленями еще больше обычного — казалось, он вот-вот упадет, — лорд танцевал уанстеп с перепуганной до смерти деревенской красавицей. Мистер Скоуган легкой рысью водил другую. Мэри оказалась в объятиях молодого фермера атлетического телосложения. Глядя на него снизу вверх, она говорила, насколько Дэнис мог понять, о чем-то очень серьезном. О чем? — подумал он. Может быть, о Мальтузианской лиге?

Сидя в углу в оркестре, Дженни показывала чудеса виртуозной игры на барабанах. Глаза ее сияли, она улыбалась про себя. Вся ее скрытая внутренняя жизнь словно выражалась в этих громких там-там, в длинных дробях и эффектных раскатах. Глядя на нее, Дэнис горестно вспомнил о красном блокноте. Интересно, какую карикатуру на него она могла бы нарисовать сейчас? Однако, увидев Анну и Гомбо, проплывающих мимо, — Анна с глазами почти закрытыми, как бы спящая на крыльях движения и музыки, — он забыл об этих мыслях. «Мужчину и женщину сотворил их». Вот они, Анна и Гомбо, и еще сто пар, согласно ступающие вместе в такт старой мелодии. «Мужчину и женщину сотворил их». А Дэнис был один.

Ему одному не хватило пары. Все были по двое, кроме него, все, кроме него...

Кто-то тронул его за плечо, и он поднял глаза. Это оказался Генри Уимбуш.

— Я еще не показывал вам наши дубовые дренажные трубы, — сказал он. — Некоторые из тех, что мы раскопали, лежат довольно близко отсюда. Хотите пойти посмотреть?

Дэнис встал, и они вместе зашагали в темноту. Музыка позади них становилась все тише. Высокие ноты угасли. Лишь барабанная дробь Дженни и равномерные, как звук пилы, басовые ходы, без смысла, без мелодии, достигали слуха. Генри Уимбуш остановился:

— Вот мы и пришли, — сказал он и, достав из кармана электрический фонарик, осветил тусклым лучом две-три почерневшие колоды, выдолбленные так, что они представляли собой подобие труб. Колоды лежали, заброшенные, в неглубокой ложбинке.

— Очень интересно, — сказал Дэнис без всякого энтузиазма. Они сели на траву. Слабое белое сияние за стеной деревьев выдавало место танцевальной площадки. Музыка превратилась теперь лишь в приглушенное ритмическое пульсирование.

— Я буду рад, — сказал Генри Уимбуш, — когда этот вечер, который мы были обязаны провести, наконец закончится.

— Хорошо понимаю вас.

— Не знаю, как получается, — продолжал мистер Уимбуш, — но зрелище большого числа моих близких в состоянии возбуждения порождает во мне определенную скуку, а не веселое или радостное настроение. Дело в том, что они меня не очень интересуют. Это не мое направление. Понимаете? Меня, например, никогда не привлекало коллекционирование почтовых марок. Примитивисты или книги семнадцатого века — да. Это мое направление. Но марки — нет. Я ничего о них не знаю, это не мое направление. Они не интересуют меня, не пробуждают во мне никаких чувств. Извините, но почти то же я могу сказать и о людях. Мне больше нравится иметь дело с трубами. — Он коротко кивнул головой в сторону выдолбленных колод. — Беда с людьми и с событиями настоящего в том, что вы ничего о них не знаете. Что я знаю о современной политике? Ничего. Что знаю о людях, которых вижу вокруг себя? Ничего. Что они думают обо мне или вообще о чем-нибудь, что будут делать через пять минут — обо всем этом я могу лишь гадать. Я могу предположить, например, что вы в следующее мгновение можете внезапно вскочить и попытаться убить меня.

— Ну, ну, — сказал Дэнис.

— Правда, — продолжал мистер Уимбуш, — то немного, что я знаю о вашем прошлом, вполне утешительно. Но я ничего не знаю о вашем настоящем, и ни вы, ни я не знаем ничего о вашем будущем. Это ужасно: сталкиваясь с живыми людьми, мы имеем дело с неизвестными и непознаваемыми величинами. Можно лишь надеяться что-то о них узнать в результате долгих и в высшей степени неприятных и скучных личных контактов, связанных с ужасной тратой времени. То же и с текущими событиями: как я могу узнать что-либо о них, не посвящая годы изнурительному непосредственному их изучению, сопряженному опять же с бесконечным количеством неприятнейших контактов? Нет, дайте мне прошлое. Оно не меняется: оно все перед нами в черном и белом цвете, и узнать о нем можно в удобной обстановке, благопристойно и, главное, в уединении — из книг. Из книг я знаю очень многое о Цезаре Борджиа, о святом Франциске, о докторе Джонсоне. Несколько недель — и я глубоко ознакомлен с этими интересными личностями и к тому же избавлен от утомительного и неприятного процесса непосредственного общения с ними, на которое мне пришлось бы пойти, если бы они были живы. Какой приятной и радостной была бы жизнь, если бы можно было совсем избавиться от общения с людьми! Возможно, в будущем, когда техника достигнет совершенства — ибо я, признаюсь, подобно Годвину и Шелли, верю в совершенствование, но в совершенствование машин, — тогда, возможно, те, кто, как я, желает этого, будут жить в благородном затворничестве, окруженные тактичным вниманием безмолвных и приятных машин, не боясь человеческого вторжения. Прекрасная мысль.

— Прекрасная, — согласился Дэнис. — Но как быть с приятными человеческими контактами — такими, как любовь и дружба?

Черный силуэт на фоне мрака покачал головой.

— Радости даже этих контактов сильно преувеличены, — сказал мягкий, вежливый голос. — Мне кажется сомнительным, чтобы они приносили такое же удовольствие, как уединенное чтение и размышления. Человеческое общение так высоко ценилось в прошлом лишь потому, что чтение было уделом немногих, а книги редкостью и их было трудно выпускать в большом количестве. Человечество, вы должны помнить это, лишь теперь становится грамотным. По мере того как чтение будет распространяться, все большее число людей осознает, что книги дадут им все удовольствия человеческого общения без его невыносимой скуки. Сегодня люди в поисках удовольствий, естественно, стремятся собираться большими толпами и производить как можно больше шума. В будущем

естественным станет стремление к уединению и тишине. Надлежащий способ изучения человечества — это чтение.

— Иногда я думаю, что, может быть, это так и есть, — сказал Дэнис. Он думал о том, танцуют ли еще вместе Анна и Гомбо.

— И вот вместо того, чтобы читать, — сказал мистер Уимбуш со вздохом, — я должен пойти и посмотреть, все ли в порядке на танцевальной площадке.

Они встали и медленно двинулись в сторону белого сияния.

— Если бы всех этих людей не было в живых, — продолжал Генри Уимбуш, — нынешнее празднество могло бы казаться чрезвычайно приятным. Что доставит вам большее удовольствие, нежели чтение хорошо написанной книги о бале, устроенном под открытым небом столетие назад. Как очаровательно! — сказали бы мы. — Как мило и как весело! Но когда бал происходит сегодня, когда принимаешь участие в его устройстве, тогда все видится в истинном свете. И бал оказывается просто вот чем. — Он взмахнул рукой в направлении ацетиленовых фонарей. — В мои молодые годы, — продолжал он, помолчав, — я, так случилось, оказался вовлеченным в серию невероятно фантасмагорических любовных интриг. Какой-нибудь романист мог бы нажить на них состояние, и даже если я рассказал бы вам в моем убогом стиле о некоторых подробностях этих приключений, вы были бы поражены столь романтической историей. Но уверяю вас, когда они происходили, эти романтические приключения, они казались мне не более и не менее увлекательными и волнующими, чем любой другой случай в реальной жизни. Вскрабкаться ночью по веревочной лестнице в окно на третьем этаже старого дома в Толедо казалось мне, когда я и в самом деле совершал этот довольно опасный подвиг, делом таким же естественным, обычным, таким же — как бы это выразиться? — банальным, как отправиться утром в понедельник по делам на поезде, отходящем в восемь пятьдесят две из Сурбитона. Приключения и романтические истории обретают свою романтическую окраску, только когда о них рассказывают. Если вы их переживаете, они просто кусок жизни, как и все остальное. В литературе они становятся такими приятными, каким был бы этот скучный бал, если бы мы отмечали его трехсотлетие.

Они подошли ко входу на площадку и остановились, моргая от ослепительного света.

— Ах, если бы мы только отмечали его трехсотлетие! — добавил Генри Уимбуш.

Анна и Гомбо все еще танцевали вместе.

Глава двадцать девятая

Был одиннадцатый час вечера. Танцующие уже разошлись, и слуги гасили последние фонари. Завтра свернут палатки, уложат разобранную карусель на телеги и увезут прочь. Останется лишь пространство вытопанной травы, бурая заплатка на зеленой одежде парка. Ярмарка в Кроме завершилась.

На краю бассейна задержались две фигуры.

— Нет, нет, нет, — задыхающимся шепотом говорила Анна, откидываясь назад, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, чтобы избежать поцелуев Гомбо. — Нет, пожалуйста. Нет!

Ее голос стал громче и настойчивее. Гомбо немного ослабил объятия.

— Но почему? — сказал он. — Нет, я буду...

Внезапным усилием Анна вырвалась из его рук.

— Нет, не будете, — резко сказала она. — Вы пытаетесь воспользоваться моим состоянием. Это в высшей степени нечестно.

— Нечестно? — Гомбо искренне удивился.

— Да, нечестно. Вы нападаете на меня после того, как я два часа танцевала и опьянена движением, когда я потеряла голову и вся нахожусь во власти ритма. Это все равно что принуждать к любви женщину, которую вы одурманили наркотиками или напоили допьяна.

Гомбо сердито засмеялся:

— Назовите еще меня поставщиком живого товара для публичных домов, и покончим с этим.

— К счастью, — сказала Анна, — я уже совсем отрезвела, и, если вы попытаетесь снова поцеловать меня, я дам вам пощечину. Пройдемся немного вокруг бассейна, — добавила она. — Ночь так восхитительна.

В ответ Гомбо только раздраженно хмыкнул. Они медленно, бок о бок пошли вдоль берега.

— Что мне нравится в живописи Дега... — начала Анна самым невинным тоном, как бы продолжая ранее начатую беседу.

— О, к черту Дега! — почти закричал Гомбо.

С того места, где он стоял в позе глубокого отчаяния, опираясь о парапет террасы, Дэнис увидел их, две смутные фигуры в лунном свете, внизу у края бассейна, увидел начало того, что обещало быть бесконечно страстными объятиями, — и бежал. Это было слишком, он не мог вынести этого. Он чувствовал, что через мгновение неудержимо расплачется.

Ничего не замечая, он вбежал в дом и почти столкнулся с мистером Скоуганом, который расхаживал по гостиной, куря последнюю трубку.

— Э-эй! — сказал мистер Скоуган, хватая его за локоть. Ошеломленный, почти не сознавая, что он делает и где находится, Дэнис мгновение стоял, словно лунатик. — Что случилось? — продолжал мистер Скоуган. — У вас такой взволнованный, расстроенный, подавленный вид.

Дэнис молча покачал головой.

— Обеспокоены проблемами мироздания? — Мистер Скоуган похлопал его по руке. — Мне это знакомо, — сказал он. — В высшей степени мучительный симптом. «В чем смысл жизни? Все суета сует. Зачем продолжать что-то делать, если ты обречен в конце концов исчезнуть с лица земли, как и все остальное?» Да, да. Я точно знаю, что вы сейчас чувствуете. Это очень мучительно, если позволять себе мучиться. Но зачем? В конце концов, мы все знаем, что высшего смысла не существует. Но какая нам от этого разница?

В этом месте лунатик внезапно очнулся.

— Что? — спросил он, моргая и хмурясь на своего собеседника. — Что?

И бросился вверх по лестнице, прыгая через две ступеньки. Мистер Скоуган подбежал к лестнице и, подняв голову, громко произнес ему вдогонку:

— Никакой разницы, никакой! Жизнь все равно прекрасна, всегда, при любых обстоятельствах, при любых! — добавил он, повышая голос до крика. Но Дэнис был уже далеко и не слышал его, и даже если бы слышал, душа его сегодня не принимала никаких философских утешений.

Мистер Скоуган вновь сунул трубку в рот и принялся расхаживать по комнате. «При никаких обстоятельствах», — произнес он про себя. Начать с того, что это было неверно с точки зрения грамматики. Было ли это верно вообще? И является ли жизнь наградой сама по себе? Он задумался. Когда его трубка догорела и во рту появился противный вкус, он выпил рюмку джина и отправился в постель. Через десять минут он спал глубоким невинным сном.

Дэнис машинально разделся и в своей цветастой шелковой пижаме, которой он столь справедливо гордился, лежал ничком на постели. Время шло. Когда он наконец поднял голову, то увидел, что свеча, которую он оставил на столике, почти догорела.

Он посмотрел на часы. Почти половина второго. Голова болела, сухие бессонные глаза воспалены, кровь в ушах стучала громко, как барабан. Он встал, открыл дверь, бесшумно прошел по коридору и начал подниматься

по лестнице. Добравшись до комнат прислуги под крышей, он в нерешительности постоял немного, потом, повернув направо, открыл маленькую дверь в конце коридора. За ней была очень темная кладовая, жаркая, душная, пахнувшая пылью и старой кожей. Он осторожно, ощупью продвигался вперед, в темноту. Именно отсюда, из этой каморки на свинцовую крышу западной башни вела пожарная лестница. Он нашел ее, взобрался наверх и бесшумно поднял крышку люка. Над ним было залитое лунным светом небо, он вдохнул в себя свежий, прохладный ночной воздух. Минуту спустя он стоял на крыше, обводя взглядом тусклые, лишенные красок дали, потом посмотрел вниз, на террасу, от которой его отделяли семьдесят футов.

Зачем он поднялся сюда, на самый верх, в пустоту? Посмотреть на луну? Покончить с собой? Он и сам не знал, зачем. Смерть... Слезы навернулись ему на глаза, когда он подумал о ней. Его страдания обрели какой-то возвышенный характер, крылья непонятого восторга подняли и понесли его. В таком настроении он мог совершить что угодно, как бы это ни было глупо. Он прошел вперед, к дальнему парапету. Стена здесь отвесно уходила вниз. Хорошенько оттолкнуться — и, наверное, можно перепрыгнуть через узкую террасу и, таким образом, пролететь еще тридцать футов до выжженной солнцем земли внизу. Он нерешительно стоял на углу крыши, глядя то в глубь темной бездны, то на редкие звезды и серп луны в небе. Он взмахнул рукой, пробормотал что-то — он не мог потом вспомнить, что. Но тот факт, что он произнес это вслух, придал всему какое-то особенное, ужасное значение. Затем он снова посмотрел вниз, в пропасть.

— Что вы делаете, Дэнис? — спросил голос где-то очень близко от него.

Дэнис испуганно вскрикнул от неожиданности и в самом деле чуть не перелетел через парапет. Сердце его отчаянно билось, и, когда, взяв себя в руки, он повернулся в том направлении, откуда раздался голос, вся кровь отлила от его лица.

— Вы больны?

В глубокой тени под восточным парапетом башни он увидел то, чего раньше не заметил, — очертания чего-то продолговатого. Это был матрас, и кто-то на нем лежал. С той памятной ночи на башне Мэри спала только здесь: это было своего рода проявление верности.

— Вы меня напугали, — продолжала она, — я проснулась, а вы размахиваете там руками и что-то бормочете. Что вы тут делаете?

Дэнис трагически рассмеялся.

— Действительно, что! — сказал он. Если бы она не проснулась, он лежал бы, разбившись насмерть, у подножия башни. Теперь он был в этом уверен.

— Надеюсь, вы не собирались покушаться на меня? — допытывалась Мэри, делая слишком поспешный вывод.

— Я не знал о том, что вы здесь, — сказал Дэнис с еще более горьким и искусственным смехом.

— Нет. все-таки, что с вами, Дэнис?

Он сел на край матраса и вместо ответа продолжал смеяться тем же пугающим, неестественным смехом.

Час спустя голова Дэниса покоилась на коленях Мэри, и она с нежной заботливостью чисто материнского свойства гладила его, и сбившиеся волосы струились у нее между пальцами. Он рассказал ей обо всем, обо всем: о своей безнадежной любви, о своей ревности, об отчаянии, о решении покончить с собой — ведь если бы не она... Он торжественно поклялся никогда больше не думать о самоубийстве. И теперь его душа парила в печальном успокоении. Она была умиротворена сочувствием, которое Мэри столь щедро изливала. Но успокоение и даже своего рода счастье Дэнис испытывал не только оттого, что нашел сочувствие, но и оттого, что сочувствовал сам. Ибо если он все рассказал Мэри о своих страданиях, то и Мэри в ответ рассказала все, или почти все, о своих.

— Бедная Мэри!

Он очень жалел ее. Правда, она могла бы сообразить, что Айвор — отнюдь не образец постоянства.

— Что же, — заключила она, — во всяком случае, не надо падать духом.

Ей хотелось плакать, но она не позволила себе этой слабости. Некоторое время они молчали.

— Вы думаете, — нерешительно спросил Дэнис, — вы правда думаете, что она... что Гомбо...

— Я в этом уверена, — твердо ответила Мэри. Они снова надолго замолчали.

— Я не знаю, что мне теперь делать, — сказал он наконец в полном унынии.

— Вам лучше уехать, — посоветовала Мэри. — Это самое верное и самое разумное.

— Но я принял приглашение пожить здесь еще три недели.

— Придумайте какой-нибудь предлог.

— Пожалуй, вы правы.

— Я знаю, что права, — сказала Мэри, которая вновь обрела свою решительность и самообладание. — Ведь дальше так продолжаться не может.

— Да, так продолжаться не может, — отозвался Дэнис.

Необыкновенно практичная, Мэри разработала план действий. Внезапно в темноте, заставив их вздрогнуть, церковные часы пробили три часа.

— Вы должны немедленно идти спать, — сказала она. — Я представления не имела, что уже так поздно.

Дэнис соскользнул вниз, осторожно спустился по скрипучей лестнице. В его комнате было темно: свеча давно уже догорела. Он лег в постель и почти сразу заснул.

Глава тридцатая

Дэниса разбудили, но, хотя шторы на окнах были раздвинуты, он снова погрузился в то дремотное оцепенение, когда сон становится чувственным удовольствием, которое почти сознательно хочется продлить. В этом состоянии он, быть может, пребывал бы еще час, если бы его не потревожил настойчивый, хотя и негромкий стук в дверь.

— Войдите, — пробормотал он, не открывая глаз.

Щелкнула дверная ручка, чья-то рука схватила его за плечо и резко встряхнула.

— Вставайте, вставайте.

Моргая, он с трудом раскрыл глаза и увидел, что над ним стоит Мэри, — с ясным лицом и очень озабоченная.

— Вставайте же! — повторила она. — Вам надо идти и отправить телеграмму. Вы что, забыли?

— О Боже!

Он отбросил одеяло. Его мучительница удалилась.

Дэнис поспешно оделся и побежал в деревню, на почту. На обратном пути он испытывал большое удовлетворение. Он отправил длинную телеграмму и через несколько часов получит ответ с требованием немедленно вернуться в город по неотложному делу. Это было совершенное действие, сделанный им решительный шаг, а он так редко предпринимал решительные шаги. Он был доволен собой. К завтраку он явился с хорошим аппетитом.

— Доброе утро, — сказал мистер Скоуган. — Надеюсь, вам лучше?

— Лучше?

— Вчера вечером вы были довольно сильно расстроены проблемами мироздания.

Дэнис попытался отделаться от этого обвинения смехом.

— Неужели? — небрежно спросил он.

— Хотел бы я, — сказал мистер Скоуган, — чтобы меня терзали лишь такие мысли. Я был бы счастливым человеком.

— Счастливым можно быть только в действии, — провозгласил Дэнис, думая о телеграмме.

Он выглянул в окно. Большие румяные облака причудливой формы плыли высоко в голубом небе. Шелестел ветер в деревьях, и трепещущие листья сверкали и искрились, как серебро, в солнечных лучах. Все казалось

изумительно прекрасным. При мысли о том, что скоро он уедет от всей этой красоты, Дэнис почувствовал внезапную боль, но утешился, вспомнив, как решительно он действовал.

— Действие! — повторил он вслух и, подойдя к буфету, положил себе на тарелку ветчины и рыбы, так чтобы они приятно дополняли друг друга.

Позавтракав, Дэнис отправился на террасу и, устроившись там, закрылся мощным защитным валом газеты «Таймс» от возможных набегов мистера Скоугана, который проявлял неумное желание продолжить беседы о Вселенной. Чувствуя себя в безопасности за хрустящими страницами, он размышлял. В свете этого прекрасного утра его вчерашние ночные переживания казались очень далекими. И что из того, что он видел, как они обнимались при луне? Может быть, это, в конце концов, не так уж важно. И даже если важно, почему бы ему не остаться? Он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы остаться, сильным, чтобы держаться с холодным равнодушием, бесстрастно — просто поддерживая дружеское знакомство. И даже если он недостаточно силен...

— Когда, по-вашему, придет телеграмма? — спросила Мэри, внезапно обрушиваясь на него поверх газеты.

Дэнис виновато вздрогнул.

— Понятия не имею, — ответил он.

— Я спрашиваю потому, — сказала Мэри, — что в три двадцать семь очень удобный поезд, и хорошо бы вам на него успеть, правда?

— Хорошо бы, — вяло согласился он. Он почувствовал себя так, словно готовил свои собственные похороны. Поезд отправляется с вокзала Ватерлоо в три двадцать семь. Цветов просят не приносить...

Мэри ушла. Нет, черт его возьми, если он позволит так быстро отправить себя на кладбище. Черт его возьми...

Из окна гостиной выглянул мистер Скоуган с голодным выражением, и он поспешно вновь загородился «Тайме». Он долго держал газету перед собой. Опуская ее наконец, чтобы снова осторожно посмотреть, что делается вокруг, он, к своему изумлению, увидел перед собой легкую, довольную, коварную улыбку Анны. Она стояла перед ним — женщина-деревце — в изящной позе, которая, казалось, была само застывшее движение.

— И давно вы тут стоите? — спросил он, оправившись от изумления.

— Думаю, около получаса, — весело сказала она. — Вы так углубились в свою газету — просто с головой ушли, — что я не хотела вас беспокоить.

— Вы чудесно выглядите сегодня, — воскликнул Дэнис. Впервые у

него хватило духу произнести такого рода личное замечание.

Анна подняла руку, словно защищаясь от удара.

— Пожалуйста, не оглушайте меня.

Она села рядом с ним на скамейку. Он милый мальчик, думала она, просто прелестный. А грубая настойчивость Гомбо становилась довольно утомительной.

— А почему вы не в белых брюках? — спросила она. — Вы мне так нравитесь в белых брюках.

— Они в стирке, — довольно резко ответил Дэнис. Вся эта тема белых брюк была не в том ключе. Он еще разрабатывал план, как снова направить беседу в нужное русло, когда из дома вдруг стремительно вылетел мистер Скоуган, пересек террасу с торопливостью заводной игрушки и остановился перед скамейкой, на которой они сидели.

— Продолжая нашу интересную беседу о мироздании, — начал он, — я все больше и больше прихожу к убеждению, что различные его части абсолютно дискретны... Но не могли бы вы, Дэнис, чуть-чуть подвинуться вправо? — Он втиснулся на скамейку между ними. — А вы бы, дорогая Анна, сместились на несколько дюймов влево... Благодарю вас. Дискретны, я, кажется, говорил?

— Говорили, — сказала Анна. Дэнис безмолвствовал.

Они пили послеобеденный кофе в библиотеке, когда пришла телеграмма. Дэнис, виновато краснея, взял желтый конверт с подноса и вскрыл его. «Срочно возвращайся. Неотложное семейное дело». Нелепо. Как будто у него есть какие-то семейные дела! Не лучше ли просто скомкать и сунуть ее в карман, ничего не объясняя? Он поднял голову. Большие голубые фарфоровые глаза Мэри смотрели на него серьезно, пронизывающе. Мучимый нерешительностью, он еще больше покраснел.

— О чем ваша телеграмма? — многозначительно спросила Мэри.

Дэнис совсем растерялся.

— Боюсь, — пробормотал он, — боюсь, она означает, что мне придется немедленно вернуться в город.

Он свирепо нахмурился, глядя на телеграмму.

— Но это нелепо, невозможно! — воскликнула Анна. Она стояла у окна, разговаривая с Гомбо, но после слов Дэниса ринулась к нему через всю комнату.

— Срочное дело, — повторил он в отчаянии.

— Но вы пожили здесь так мало! — возразила Анна.

— Я знаю, — сказал он, чувствуя себя совершенно несчастным. О, если бы только она могла все понять! А еще говорят, что женщины

обладают интуицией.

— Если это необходимо, то он должен уехать, — твердо вставила Мэри.

— Да, должен. — Он снова посмотрел на телеграмму, чтобы набраться мужества. — Видите ли, у меня неотложное семейное дело, — объяснил он.

Из своего кресла в некотором волнении встала Присцилла.

— У меня этой ночью было ясное предчувствие, — сказала она, — ясное предчувствие.

— Чистое совпадение, несомненно, — сказала Мэри, устраняя миссис Уимбуш из разговора. В три двадцать семь есть очень хороший поезд. — Она посмотрела на часы над камином. — У вас еще вполне хватит времени, чтобы уложить вещи.

— Я сейчас же прикажу подать автомобиль. — Генри Уимбуш позвонил в колокольчик. Похороны начались. Это было ужасно, ужасно.

— Я совершенно расстроена оттого, что вам надо ехать, — сказала Анна.

Дэнис повернулся к ней. Вид у нее действительно был расстроенный. Он безнадежно, обреченно покорился судьбе. Вот к чему привело действие, попытка сделать что-то решительное. Если бы он только предоставил всему идти своим чередом! Если бы...

— Мне будет не хватать бесед с вами, — сказал мистер Скоуган.

Мэри снова посмотрела на часы.

— Мне кажется, вам бы надо пойти и уложить вещи, — сказала она.

Дэнис послушно вышел из комнаты. Никогда, сказал он себе, никогда больше он не будет делать ничего решительного. Кэмлет, Уэст Баулби, Нипсвитчфор-Тимпани, Спейвин Делауорр... Затем все остальные станции и, наконец, Лондон. Мысль о поездке привела его в ужас. И что он будет делать в Лондоне, когда доберется туда? Он устало поднимался по лестнице. Пришло время ложиться в свой гроб.

Автомобиль стоял у дверей — как катафалк. Проводить его собрались все. До свиданья, до свиданья. Он механически постучал по стеклу барометра, висевшего у двери. Стрелка заметно сдвинулась влево. Внезапная улыбка осветила его мрачное лицо.

— Жизнь угасает — я готов уйти, — сказал Дэнис, цитируя удивительно подходящие к случаю слова Лэндора. Он быстро взглянул в лицо каждому, кто стоял вокруг. Никто ничего не понял. Он забрался внутрь катафалка.

notes

Примечания

1

Контур... Очертания ее крутых бедер (фр.).

Контур, наполненный, прожорливый; аромат, кожа, развратник, пухлый, целомудрие; добродетель, наслаждение (фр.).

3

Выдающаяся женщина (фр.).

Перевод Р. Дубровкина.

Сила жизни, жизненный пыл (фр.).

Argal — от лат. ergo — следовательно; союз, выполняющий особую стилистическую функцию и указывающий на бессвязность и нелогичность рассуждения, в котором он употреблен.

Названия болезней растений (англ.).

Перевод Р. Дубровкина.

Перевод Р. Дубровкина.

Как добропорядочные буржуа (фр.).

11

Изображение, создающее иллюзию реальности (фр.).

Главный труд (лат.).

Игра природы (лат).

Перевод Р. Дубровкина.

Прощай, любовь. До свидания (ит.).

Здесь: близко прижавшиеся друг к другу (ит.).

Перевод Р. Дубровкина.

Двусмысленное (фр.).

Группа граждан, созываемая для подавления беспорядков, розыска преступника и т.п. (лат. юр.).

Перевод Р. Дубровкина.

Перевод Р. Дубровкина.

Песня, стихотворение (лат.); даны формы именительного и родительного падежей, как обычно при изучении латинского языка в школе, чтобы показать тип склонения.

Мясо, плоть (лат.).

Четверг на третьей неделе великого поста (фр.); отмечался во Франции карнавалами и народными гуляньями.

Ветрогонный, вызывающий выделение кишечных газов (нем.).

Я стал теперь совсем иным И никогда не буду прежним (фр.). —
Перевод Р. Дубровкина.

Способная совсем не вставать на дыбы, но! Почтовая карета, и я добавлю: тпру! Если ты не прибудешь в дом 11-бис На улице Бальзака, к этому Эредиа... (букв. фр.).

Душевная апатия, скука (позд. лат. из греч.).

Перевод Р. Дубровкина.

Звук, и ничего более (лат.).

Перевод Р. Дубровкина.

Перевод Р. Дубровкина.

Перевод Р. Дубровкина.